

М-ЕСАЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



Книги очерков

Михаил Салтыков-Щедрин

Письма к тетеньке

«Public Domain»

1882

Салтыков-Щедрин М. Е.

Письма к тетеньке / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain»,
1882 — (Книги очерков)

© Салтыков-Щедрин М. Е., 1882

© Public Domain, 1882

Содержание

ПИСЬМО ПЕРВОЕ	5
ПИСЬМО ВТОРОЕ	13
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ	23
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ	33
ПИСЬМО ПЯТОЕ	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

Письма к тетеньке

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Милая тетенька!

Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. То расцветали надеждами, то увядали; то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то опускали ее долгу, точно всё, что нужно, услышали; то устремлялись вперед, то жались к сторонке... И бредили, бредили, бредили – без конца!

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому что была уверенность, что вот-вот опять сейчас расцветешь... В самом ли деле расцветешь, или это так только видимость одна – и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомых: слышали? а? вот так сюрприз!

То есть, по правде-то говоря, из нас двоих волновались и "бредили" вы одни, милая тетенька. Я же собственно говорил: зачем вы, тетенька, к болгарам едете? зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? зачем вы концерты в пользу курсисток устраиваете? Сядемте-ка лучше рядком, сядем да посидим... Ах, как вы на меня тогда рассердились!

– Сидите – вы! – сказали вы мне, – а я пойду туда, куда влекут меня убеждения! Mais savez-vous, mon cher, que vous allez devenir pouilleux avec vos "сядем да посидим"...¹

Именно так по-французски и сказали: pouilleux, потому что ведь нельзя же по-русски сказать: обовшивеете!

Повторяю: я лично не волновался. Однако ж не скрою, что к вашим волнениям я относился до крайности симпатично и не раз с гордостью говорил себе: "Вот она, тетенька-то у меня какова! К болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит! Милану прямо в лицо говорит: дерзай, княже! "Иде домув муй?" с аккомпанементом гитары поет – какой еще родственницы нужно!" Говорил да говорил, и никак не предвидел, что на нынешнем консервативно-околоточном языке мои симпатии будут называться укрывательством и попустительством...

Но теперь, когда попустительства начинают выходить из меня соком, я мало-помалу прихожу к сознанию, что был глубоко и непростительно неправ. Знаете ли вы, что такое "сок", милая тетенька? "Сок" – это то самое вещество, которое, будучи своевременно выпущено из человека, в одну минуту уничтожает в нем всякие "бреды" и возвращает его к пониманию действительности. Именно так было со мной. Покуда я кока с соком был – я ничего не понимал, теперь же, будучи лишен сока, – все понял. Правда, я лично не агитировал в пользу Баттенбергского принца, но все-таки сидел и приговаривал: ай да тетенька! Лично я не плескал руками ни оправдательным, ни обвинительным приговорам присяжных, но все-таки говорил: "Слышали? тетенька-то как отличилась?" А главное: я "подпевал" (не "бредил", в истинном значении этого слова, а именно "подпевал") – этого уж я никак скрыть не могу! Так вот как соберешь все это в один фокус, да прикинешь, что за сие, по усмотрению управы благочиния, полагается, – даже волос дыбом встанет!

Позвольте, однако ж, голубушка! Мог ли я не попустительствовать и не "подпевать", если вы при каждом случае, когда я хотел трезвенное слово сказать, перебивали меня: pouilleux! Помнится, как-то раз я воскликнул: ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма! – а вы потрепали меня по щечке и сказали: дурашка! Как я тогда обиделся! как горячо

¹ Но знаете, дорогой мой, что вы обовшивеете с вашими «сядем да посидим»... (франц.)

начал доказывать, что меня совсем не так поняли! И вдруг, сам не помню как, такую высокую ноту взял, что даже вы всполошились и начали меня успокаивать! А кто меня до этой высокой ноты довел?!

Спрашиваю я вас: примет ли все это в соображение управа благочиния, хоть в качестве смягчающего вину обстоятельства?

Но, кроме того, и еще – хоть вы мне и тетенька, но лет на десяток моложе меня (мне 56 лет) и обладаете такими грасами, которые могут встревожить какого угодно роuilleux. Когда вы входите, вся в кружевах и в прошивочках, в гостиную, когда, сквозь эти кружева и прошивочки, вдруг блеснет в глаза волна... Ах, тетенька! хоть я, при моих преклонных летах, более теоретик, нежели практик в такого рода делах, но мне кажется, что если б вы чуточку распространили вырезку в вашем лифе, то, клянусь, самый заматерелый роuilleux – и тот не только бы на процесс Засулич, но прямо в огонь за вами пошел!

Ужели же и этого не примет в соображение управа благочиния?

Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю вас, сваливаю на вас мою вину! Во-первых, чем же я виноват, коли инстинкт мне подсказывает: расскажи да расскажи! А во-вторых, предавая вас, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче так все упрощено, что уж нет ни зачинщиков, ни попустителей, ни укрывателей – одни виноватые. Стало быть, все мои ссылки на вас и на кого бы то ни было напрасны и служат только к бескорыстному разъяснению дела, а не к личному моему обелению. И что всего любопытнее: я очень хорошо это понимаю, и все-таки от предательства воздержаться не могу: так и нудит инстинкт, так и подманивает навстречу. Это уж веянье такое, и все мы, которые когда-либо были одержимы "брeдами" или "подпеваниями", – все мы обязываемся принимать его в расчет.

Одно меня утешает: ведь и вы, мой друг, не лишены своего рода ссылок и оправдательных документов, которые можете предъявить едва ли даже не с большим успехом, нежели я – свои. В самом деле, виноваты ли вы, что ваша *manière de causer*² так увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока пяти лет сохранили атуры и контуры, от которых мгновенно шалют les messieurs?

Знаете ли, впрочем, что? Иногда мне кажется, что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьею помощью, поворот!), просто-напросто возьмет да и сдаст наше дело в архив. Или, много-много, внушение сделает: смотрите, дескать, чтобы на будущее время "брeдней" – ни-ни!

– Помилуйте, вашество! кто же нынче о бреднях думает? Бредни... фуй!

Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я. А я уж потом за вами в огонь и в воду...

И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить. "Бредни... но ведь это смех, право! Бредни!.. но разве можно без омерзения об этом говорить!" Вот сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!

Но скорее всего, даже "рассмотрения" никакого мы с вами не дождемся. Забыли об нас, мой друг, просто забыли – и все тут. А ежели не забыли, то, не истребовав объяснения, простили. Или же (тоже не истребовав объяснения) записали в книгу живота и при сем имеют в виду... Вот в скольких смыслах может быть обеспечено наше будущее существование. Не скрою от вас, что из них самый невыгодный смысл – третий. Но ведь как хотите, а мы его заслужили.

Тем не менее я убежден, что ежели мы будем сидеть смирно, то никакие смыслы нас не коснутся. Сядем по уголкам, закроем лица платками – авось не узнают. У тех, скажут, человеческие лица были, а это какие-то истуканы сидят... Вот было бы хорошо, кабы не узнали! Обманули... ха-ха!

Но как это, тетенька, подло!

² манера беседовать (франц.)

Не бойтесь же, милая. Вот вы теперь в деревню уехали: авось, мол, там меня не достанут! Ну, и прекрасно. Поживите там, подышите воздухом полей, посмотрите, как доят коров и стригут барашков, поговорите с вашим урядником, полюбуйтесь на житье-бытье мужичков... и вдруг вас осенит мысль: какая я, однако ж, глупенькая была! бреднями занималась! Правду Nicolas (это я) говорил: с нас совершенно достаточно утирающего слезы жандарма! И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смело велите закладывать лошадей и катите опять в Петербург. Ручаюсь, что, кроме похвалы, ничего не услышите.

А в Петербурге вы найдете – меня. Сiju я здесь, как дятел на сосновом суку, и с утра до вечера все долблю: не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! Приезжайте и будем вместе долбить – поваднее!

Ужасно, какое множество нынче этих дятлов развелось. Шляются, слюною брызжут, очами грозят, долбят да друг на друга посматривают: кто кого передолбит?

* * *

Впрочем, вся заслуга отрезвления (ибо я уверен, что этот процесс уже совершился в вас) на вашей, душенька, стороне. Я же как прежде был хорош, так и теперь хорош.

Всегда я думал, что вся беда наша в том, что мы чересчур много шуму делаем. Чуть что – сейчас шапками закидать норовим, а не то так и кукиш в кармане покажем. Ну, разумеется, слушают-слушают нас, да и прихлопнут. Умей ждать, а не умеешь – нет тебе ничего! Так что, если б мы умели ждать, то, мне кажется, давно бы уж дождались.

И в счастии и в несчастьи мы всегда предвараем события. Да и воображение у нас какое-то испорченное: всегда провидит беду, а не благополучие. Еще и не пахло крестьянской волей, а мы уж кричали: эмансипация! Еще все по горло сыты были, а мы уж на всех перекрестках голосили: голод! голод! Ну, и докричались. И эмансипация и голод действительно пришли. Что ж, легче, что ли, от этого вам, милая тетенька, стало?

Не я один, но и граф Твэрдоонто это заметил. "Когда я был у кормила, – говорил он мне, – то покуда не издавал циркуляров об голоде – все по горло были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сделать зависящее по сему предмету распоряжение – изо всех углов так и полезло! У самого последнего мужика в брюхе пусто стало!"

Еще бы! Мужик только повадку дай! Он лопнуть хочет от сытости, а все кричит: жрать!

Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные насчет книгопечатания законы издать! Только я один говорил: и без них хорошо! По-моему и вышло: коли хорошо, так и без законов хорошо! А вот теперь посидим да помолчим – смотришь, и законы будут. Да такие ясные, что небо с овчинку покажется. Ах, господа, господа! представляю себе, как вам будет лестно, когда вас, "по правилу", начнут в три кнута жарить!

Вот если бы мы были простые тати – слова нет, я бы и сам скорого суда запросил. Но ведь мы, тетенька, "разбойники печати"... Ах, голубушка! произношу я эту несносную кличку и всякий раз думаю: сколько нужно было накопить в душе гною, каким нужно было сознавать себя негодяем, чтобы таким прозвищем стошнило!

Поэтому-то вот я и говорил всегда: человеческое благополучие в тишине созидаться должно. Если уж не миновать нам благополучия, так оно и само нас найдет. Вот как теперь: нигде не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между тем созидается себе да созидается.

Не в словах дело, а в деле – и это я тоже говорил. Можно ли дело делать, когда кругом гвалт и шум? – нельзя! Ну, стало быть, молчи и не мешай!

Словесный хлеб может представлять потребность только для досужих людей; трудящиеся же да вкушают хлеб с лебедой! Вот общее правило, милая тетенька. Давно мы с вами бре-

дим, а много ли набредили? Так лучше посидим да поглядим – "оно" вдруг на нас само собою нахлынет!

Если б при московских князьях да столько разговору было, – никогда бы им не собрать русской земли. Если б при Иоанне Грозном вы, тетенька, во всеуслышание настаивали: непременно нам нужно Сибирь добыть – никогда бы Ермак Тимофеевич нам ее из полы в полу не передал. Если б мы не держали язык за зубами – никогда бы до ворот Мерва не дошли... Все русское благополучие с незапамятных времен в тиши уединения совершалось. Оттого оно и прочно.

Вон Франция намерилась какой-то дрянной Тунисишкой захватила, а сколько из этого разговоров вышло? А отчего? Оттого, голубушка, что не успели еще люди порядком наметиться, как кругом уж галденье пошло. Одни говорят: нужно взять! другие – не нужно брать! А кабы они чередом наметились да потихоньку дельце обделали: вот, мол, вам в день ангела... с нами бог! – у кого же бы повернулся язык супротивное слово сказать?!

Человеку дан один язык, чтоб говорить, и два уха, чтобы слушать; но почему ему дан один нос, а не два – этого я уж не могу доложить, Ах, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, бредили-бредили – и что вышло? Уехали теперь в деревню и стараетесь перед урядником образом мыслей щегольнуть. Да хорошо еще, что хоть теперь-то за ум взялись: а что было бы, если бы...

А я, напротив, сижу на сосновом суку да все старую песню долблю. Старую да хорошую. И может быть, за мою простоту, до чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, уж и начинаю додалбливаться. Хорошо у нас нынче, тихо! Давно так не бывало. Встречаются люди на Невском: что нового? – Да ничего не слышать. – Ну, и слава богу. Или в клубе: что в газетах пишут? – Ничего не пишут. – Ну, и слава богу... Вот увидите, милая тетенька, что из этого непременно выйдет благополучие. И не я один, все надеются. На днях встречаю князя Букиазба: мы, говорит, не болтовней занимаемся, а дело делаем.

Бог в помощь!

И точно: давно ли, кажется, мы за ум взялись, а какая перемена во всем видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, к чему ни приступишься, все словно оторопь тебя берет. Все думалось, что-то тетенька скажет? А нынче что хочу, то и делаю; хочу – стою, хочу – сижу, хочу – хожу. А дома сидеть надоест – на улицу выйду. И взять с меня нечего, потому что я весь тут!

Пришел я на днях в Летний сад обедать. Потребовал карточку, вижу: судак "авабля"³; спрашиваю: да можно ли? – Нынче все, сударь, можно! – Ну, давай судака «авабля»! – оказалась мерзость. Но ведь не это, тетенька, дорого, а то, что вот и мерзость, а всякому есть ее вольно!

А какие там, тетенька, салфетки у прислужников под мышками торчат! Совершенно мокрые детские пеленки! Не ходите туда, голубушка!

Итак, повторяю: тихо везде, скромно, но притом – свободно. Вот нынче какое правило! Встанешь утром, просмотришь газеты – благородно. "Из Белебея пишут", "из Конотопа пишут"... Не горит Конотоп, да и шабаш! А прежде – помните, когда мы с вами, тетенька, "бредили", – сколько раз он от этих наших бредней из конца в конец выгорал! Даже "Правительственный вестник" – и тот в этом отличнейшем газетном хоре каким-то горьким диссонансом звучит. Все что-то о хлебах публикует: не поймешь, произрастают или не произрастают.

Я думаю, впрочем, тетенька, что в конце концов произрастут. Потому что уж если теперь нам бог, за нашу тихость, не подаст, так уж после того я и не знаю...

"Бредни" теперь все походя ругают, да ведь, по правде-то сказать, и похвалить их нельзя. Даже и вы, я полагаю, как с урядником разговариваете... ах, тетенька! Кабы не было у вас в ту пору этих прошивочек, давно бы я вас на путь истинный обратил. А я вот заглядывался,

³ Испорченное от «au vin blanc». Приведено текстуально. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.) Au vin blanc – в белом вине

глазами косил, да и довел дело до того, что пришлось вам в деревне спасаться! Бросьте, голубушка! Подумайте: раз бог спасет, в другой – спасет, а в третий, пожалуй, и не помилует.

Но что всего приятнее: самую видную роль в этой поголовной руготне играют "новообращенные". Старые "управцы" – те усековляют спокойно, без разговоров, точно пирог с капустой едят; новые – доказывают, полемизируют и предварительно кусают. Иной новобранец до того осмелился, что так-таки прямо в глаза начальству отчеканивает: распни! И не боится. И гребень у него покраснеет, и хвост веером распухнет – тетерев на току, да и полно! Но я-то ведь, тетенька, не забыл. Таким же точно страстным тетеревом он был и тогда, когда – помните? – он же захлебывался в восторге от "бредней"!

Во всяком случае, голубушка, если вы вздумаете наведаться в Петербург, то, пожалуйста, держите ухо востро. Представьте себе, что вам завсегда сопутствует ваш добрый урядник – так и ведите себя. Потому что неравно вдруг какой-нибудь доброволец закричит: караул!

И все-то нынче чего-то ищут; даже такие люди ищут, которым давным-давно во всех инстанциях отказано. И только на одном свои права и основывают: пора эти бредни бросить! Но что же они, милая тетенька, вместо бредней предлагают? А предлагают они, голубушка, благополучие России – только и всего.

Только они думают, что без них это благополучие совершиться не может. Когда мы с вами во время оно бреднями развлекались, нам как-то никогда на ум не приходило, с нами они осуществляются или без нас. Нам казалось, что, коснувшись всех, они коснутся, конечно, и нас, но того, чтобы при сем утащить кусок пирога... сохрани бог! Но ведь то были бредни, мой друг, которые как пришли, так и ушли. А нынче – дело. Для дела люди нужны, а люди – вот они!

Ужасно замученный вид имеют эти люди, покуда ищут и разнохивают. Худые, бледные, испытые, с пересохшим горлом, с воспаленными глазами. И только одно твердят: бредни! Встречаться с ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, как завижу "искателя", сейчас шмыг в ресторан. Хочу – растегай ем; хочу – бутерброд ухвачу! Все нынче можно.

И все эти "искатели" друг друга подсиживают и ругательски друг друга ругают. Встретил я на днях Удава – он Дыбу ругает; встретил Дыбу – он Удава ругает. И тот и другой удостоверяют: вот помяните мое слово, что ежели только он (имярек) "достигнет" – он вам покажет, где раки зимуют!

Вот ведь это какие, тетенька, люди: знают, где раки зимуют!

Но мне-то, мне-то зачем это знать? Конечно, оно любопытно, но иногда, право, выгоднее без любопытства век прожить. Признаюсь, я даже не удержался и спросил Удава: да неужто же нужно, чтобы я знал, где раки зимуют? А он в ответ: уж там нужно или не нужно, а как будут показывать, так и вы, в числе прочих, узнаете.

Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет, где раки зимуют, завтра – куда Макар телят не гонял, послезавтра – куда ворон костей не заносил, а в заключение объяснит, как Кузькину мать зовут! Вот сколько наук!

И добро бы мы этих наук не знали, а то ведь наизусть от первой страницы до последней во всех подробностях проштудировали – и все оказывается мало!

Но когда мы окончательно обогатимся этими знаниями, тогда курс наук наших будет полон, и мы начнем показывать товар лицом. Изобретем сначала порох, потом компас, потом книгопечатание, а между прочим, пожалуй, откроем и Америку.

И все-таки сдается: нет уж, пусть лучше ни Удав, ни Дыба не "достигнут"! Побегают, помянутся, да с тем пусть и отъедут. Вот это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помоли-тесь, чтоб они не достигли!

* * *

Представляю я себе, как вы, бедненькая, проводите время в деревне.

Встанете утром, помолитесь и думаете: а ведь и я когда-то "бреднями" занималась! Потом позавтракаете, и опять: ведь и я когда-то... Потом погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству и всем домочадцам пожалуетесь: ведь и я... Потом обед, а с ним и опять та же неотвязная дума. После обеда бежите к батюшке, и вся в слезах: батюшка! отец Андрон! ведь когда-то... Наконец, на сон грядущий, призываете урядника и уже прямо высказываетесь: главное, голубчик, чтоб бредней у нас не было!

Но ведь и робеть чересчур тоже не годится, мой друг. Излишняя робость может грудку высушить – и тогда навеки пропал для вас очень важный оправдательный документ.

На вашем месте я поступил бы так. Прежде всего, безусловно, утаил бы от домашних происходящие в душе вашей тревоги. Домашние – народ узко-себялюбивый и даже тривиальный; не качество идей их увлекает, а удача. Ежели вы устраиваете комфортабельно их жизнь при помощи "бредней" – они будут говорить: ай да тетенька! Если вы того же самого результата достигаете при помощи "антибредней" – они и тогда будут восклицать: ай да тетенька! Ни в тревогах, ни в сомнениях ваших они не примут участия, потому что, на их взгляд, все и всегда ясно. Расскажите им, что именно вас мутит, – они сейчас все до ниточки на бобах разведут. То есть, собственно говоря, ничего не разведут, а будут одно и то же долбить; да ведь это, наконец, ясно! Ибо никто лучше их не понимает, что во всяком деле на первом плане стоит благополучие (с лебедой в резерве) и тишина (с урчанием в резерве). И ежели вы за всем тем не перестанете упорствовать в непонимании сего, то даже малолетки будут к вам приставать: тетенька, да неужто ж вы этого не понимаете? И станут издеваться над вами, так что в конце концов окажется, что все они умники, а вы одна между ними – дура дурой.

Но что всего хуже, насмеяться-то они насмеются, а помочь не помогут. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете; ах, ведь и я когда-то бредила! но все-таки понимаете, что, полжизни пробредивши, нельзя сбросить с себя эту хмару так же легко, как сменяют старое, заношенное белье. А домочадцы ваши этого не понимают. Отроду они не бредили – оттого и внутри у них не скребет. А у вас скребет.

Вот к батюшке прибегнуть в горести – это я вам советую. Батюшка справится в требнике и все рассудит: недаром же имя ему Андрон (от "Андроны едут"). И, в заключение, простит, потому что такова его обязанность. Но главная польза, от сего проистекающая, будет заключаться в том, что вы-то сами непременно утешение получите. В раскаянии есть нечто до того сладкое, что оно само себе довлеет. Сидит человек, и тихие слезы текут по его щекам... Говорят, будто слезы служат выражением страдания, а подите-ка, отыщите что-нибудь слаще этих слез! "Ах, не могу!.. ах, не буду!.. батюшка! поддержите!" – Успокойтесь, сударыня!

А ежели попик у вас ловкий да в семинарии учился хорошо, так он, пожалуй, целую прединку по этому случаю произнесет. "Что привело тебя ко мне, чадо мое? – скажет, – и привело в смущении, в горе, в слезах? Не смерть ли досточтимых родителей? – так ведь, кажется, родителей давно у тебя нет! не болезнь ли любимых детей? – так ведь, кажется, они, слава богу, здоровы! Что же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожар ли? не утрата ли имущества? не послушание ли подчиненных и присных твоих?" Вот тут-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой утешенною.

Можете переговорить и с урядником, но при этом советую не терять самообладания. Скажите просто: вот, мол, какие слухи ходят, так вы уж, пожалуйста! Только и всего. Как будто вы тут в стороне: заметили – и горюшка мало. Но, ради всего святого, не влюбитесь в урядника, ибо в таком случае ваши прелестные прошивки пропахнут тютюном и овчинами. Этого, тетенька, и начальство не требует, а что касается до партикулярных людей, то, право, они совершенно равнодушно отнесутся к тому, какие высокие цели руководят вами в этом случае, а будут только примечать, что урядник новое кепе купил да усы фабрить начал. И прозовут они вас "урядницей", и так популяризуют эту кличку, что вам проходу по деревне от нее не будет.

Случаев такого необдуманного увлечения урядниками немало встречается в истории. Я сам лично одну дамочку знал, которая долгое время стригла себе волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали "стрижкой" и "нигилисткой". И вдруг влюбилась в землемера (все землемеры, по природе, консерваторы), купила шиньон, и с тех пор только и слов: "Ах, эти скверные стрижки!", "ах, эти немытые нигилистки!" Но что ж она этим выиграла? Только то и выиграла, что не только "стрижки" и "нигилистки", но и самые землемерши стали ее "землемершею" величать...

Стало быть, во всем должна быть мера, милая тетенька. Мера – в парении чувств и мыслей и мера – в предательстве. Так что ежели который человек всю жизнь "бредил", а потом, по обстоятельствам, нашел более выгодным "антибредить", то пускай он не прекращает своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредит, потом еще потише, и еще, и еще, и, наконец – молчок! Тогда он уж бесстрашно может, на всей своей воле, антибредом заняться, и все будут говорить: "Из какого укромного места этот безвестный рыбарь явился? что-то мы его как будто прежде не замечали!" А между тем – он самый и есть!

Вообще же мой совет таков: как можно больше самообладания. Отказывайтесь от бреда постепенно и не вводя в соблазн. Не клевайте на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклиняйте вашего прошлого! Ибо, по правде говоря, какой же был и бред-то ваш, милая тетенька! Порезвились, пошалили – только начальству удовольствие доставили! С батюшкой, однако ж, можете быть откровенны, а что касается до урядника, то об одном прошу: ради бога, берегите ваши прошивки! Помните, что, по сиротству вашему, эти прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохранить его незапятнанным, дабы дети ваши с гордостью могли воскликнуть: вот они, маменькины прошивки! точно сейчас только со станка сняты!

* * *

Тетенька! приезжайте в Петербург! не бойтесь, милая, не стыдитесь! Забудьте – и все будет хорошо.

Как только вы приедете, я сейчас вас на острова повезу. Заедем к Дороту; я себе спрошу ботвиньи, вы – мороженого... вот ведь у нас нынче как! Потом отправимся на *pointe*⁴ и будем смотреть, как солнце за будку садится. Потом домой – баиньки. Это первый день.

На второй день, с утра – крестины у дворника. Вы – кума, швейцар Федор – кум. Я – принес двугривенный на зубок. Подают пирог с сигом – это у дворника-то! Подумайте, тетенька, как в самое короткое время уровень народного благосостояния поднялся! С крестин поднимаемся домой – рано! Да не хотите ли, тетенька, в Павловск, в Озерки, в Рамбов? сделайте милость, не стесняйтесь! Явимся на музыку, захотим – сядем, не захотим – будем под ручку гулять. А погулявши, воротимся домой – баиньки!

На третий день – в участок... то бишь утро посвятим чтению "Московских ведомостей". Нехорошо проведем время, а делать нечего. Нужно, голубушка, от времени до времени себя проверять. Потом – на Невский – послушать, как надорванные людишки надорванным голосом вопиют: прочь бредни, прочь! А мы пройдем мимо, как будто не понимаем, чье мясо кошка съела. А вечером на свадьбу к городовому – дочь за подчаска выдает – вы будете посаженной матерью, я шафером. Выпьем по бокалу – и домой баиньки.

На четвертый день – дождик. Будем сидеть дома. На обед: уха стерляжья, *filets mignons*⁵, цыпленочек, спаржа и мороженое – вы, тетенька, корсета-то не надевайте. Хотите, я вам целый ворох «*La vie parisienne*»⁶ предоставлю? Ах, милая, какие там картинки! Клянусь, если б вы

⁴ стрелку (франц.)

⁵ филе миньон (франц.)

⁶ «Парижской жизни» (франц.)

были мужчина – не расстались бы с ними. А к вечеру опять разведрилось. Ma tante! да не поехать ли нам в «Русский Семейный Сад»? – Поехали.

На пятый день у тетеньки головка болит. Сидите вы, вся в прошивочках, и только плечики у вас вздрагивают. Ах, ma tante! как бы я хотел быть этою прошивочкой... вон той, которая сначала в бок, а потом все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь же, голубушка! И вдруг... вы погрозили пальчиком... "Шалун!" Да кто же, милая, шалун-то? Я ли, шестидесятилетний вертопрах, или пальчик... ах, этот пальчик! Но вы только вздыхаете в ответ и вспоминаете... Помните, тетенька, как лейб-гвардии кирасирского полка штабс-ротмистр Лев Полугаров ("к сему заемному письму" и т. д.) посадил вас на ладонку, да так к брачному алтарю и доставил? Вот вы когда еще "бредить"-то начали! Но оставим прошлое и обратимся к действительности. Тетенька! как бы я хотел быть вашим чулочком... Mais vous finitez par prononcer le mot: cale-Gons... mauvais sujet! ⁷ возмущаетесь вы...

Однако ж, хоть вы и возмущаетесь, но, в сущности, ведь не сердитесь... Ведь не сердитесь, милая? За что же тут сердиться – ведь нынче все можно! В таких разговорах проходит день до вечера, а там – опять баиньки!

Шестой день. "Сегодня я хочу кутить!" говорите вы, и мы отправляемся в "Самарканд". Но там застаем драку. Выбегает к нам сам хозяин и говорит: "Это ничего! Это офицеры купца бьют! сейчас кончат!" Заказываем обед, спрашиваем шампанского и смотрим друг на друга. Припоминаем, какие бывают на свете "разговоры", и никак припомнить не можем. Наконец я говорю: а может быть, в эту самую минуту какая-нибудь комиссия без шума, без хвастовства, заботится об нас, благополучие наше созидает? – Finissez! ⁸ – Что? не нравится вам это напоминание, тетенька? все еще, видно, «бредни»-то в головке ходят! Ну, нечего делать, коли не нравится, едем домой и – баиньки.

На седьмой день мы все слова перезабыли. Сидим друг против друга и вздыхаем. Сверх того, я лично чувствую, что у меня во всем теле зуд. Господи! да уж не кузька ли на меня напал?

Вот вам целая неделя. Ежели мало, можно и другую такую же подобрать.

Это подробности, а вот и общие правила:

1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тривиально и запоздало. Нынче – все можно.

2) О "бреднях" лучше всего позабыть, как будто их совсем не было. Даже в "антибредни" не очень азартно пускаться, потому что и они приедаться стали. Знаете ли, милая тетенька, мне кажется, что скоро всех этих искателей и лаятелей будут в участок брать, а там им, вытрезвления ради, поясницы будут дегтем мазать?

Приезжайте, голубушка!

⁷ Ты, чего доброго, в конце концов заговоришь о панталонах... проказник! (франц.)

⁸ Перестань! (франц.)

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вот, тетенька, какая вы милая! Побывали в Петербурге и сами убедились, как у нас хорошо. Все именно так и произошло, как я в прошлом письме проектировал. И сидели мы, и ходили, и стояли – как кто хотел. А из публичных действий, побывали в «Самарканде», катались по островам, у дочери городского на свадьбе присутствовали и проч. И никто нас за это не забранил. Как приехали вы к нам, так и уехали – на собственном иждивении, без провожатого. А отчего? – оттого, голубушка, что такое нынче общее правило: питать доверие даже относительно таких лиц, которые, судя по их антецедентам, отнюдь доверия не заслуживают.

Предполагается, что жизнь со всеми "сыграет штуку". Одних – "образумит" окончательно, других – ежели и не "образумит", то заставит глотать "бредни", притворяться, подплясывать, произносить вымученные, исполненные антибредней *professions de foi* ⁹. Именно сама жизнь это сделает, а совсем не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверх дном, замученная, мечущаяся под гнетом паники. А мы с вами будем сидеть и радоваться. Ибо ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стонет, а он пляшет... ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждает, а он *сам собой* кричит: эй, жги, говори! – ха-ха! Значит, понимает, чье мясо кошка съела... ха-ха! Помилуйте! да одной этой забавы по горло достаточно, чтоб распотешить не весьма требовательных зрителей! А ежели к этому, в виде обстановки, прибавить толпы скалящих зубы ретирадников, а вдали, «у воды», массы обезумевших от мякинного хлеба «компарсов» – просто со смеху умереть можно! Особливо ежели в домашнем обиходе нет ни наук, ни искусств, ни промышленности, ни денег, ни дела...

А второе нынешнее правило: не стеснять действий, кои бесспорно человеческому естеству свойственны. Как например: пить чай с филипповскими калачами, ходить по улице, даже не имея уважительных для передвижения причин, и т. п. А так как мы с вами именно только такие действия и совершали, то никто нас в бараний рог и не согнул: пускай гуляют. Но ежели бы мы увлеклись и вздумали напомнить, что *"ergare humanum est"* ¹⁰, то нам объяснили бы, что это пословица, вышедшая из употребления, и что не только ссылаться на нее, но и сомнений по ее поводу возбуждать не надлежит. Просто-напросто надо позабыть. Это, тетенька, третье нынешнее правило, и оно так существенно, что я позволю себе остановиться на нем несколько подробнее.

Родоприсхождение этого третьего общего правила, как и всего вообще, чем красна наша жизнь, до крайности просто. "Надоело" – это во-первых. Тошно смотреть (а по другим: "взбесить может"), как люди путаются – пусть лучше прямой дорогой в Демидрон ¹¹ идут. Во-вторых, и хлопот с *ergare* ¹² много: одних новых околоточных сколько потребуется. А в-третьих, по нынешнему времени, не *ergare* нужно, а «внушать доверие». Только и всего. Вспомните древних римлян: заблуждались они да заблуждались (они и пословицу-то эту выдумали), а что из того вышло? – вышло сначала падение западной римской империи, а потом и восточной. А если б они не заблуждались, но ездили в «Самарканд», то римская-то империя и поднесь, пожалуй, процветала бы; вандалы же, сарматы и скифы и сейчас гоняли бы Макаровых телят и в лесах Германии, и на низовьях Дуная и Днепра.

⁹ программы (*франц.*)

¹⁰ человеку свойственно заблуждаться (*лат.*)

¹¹ Известное в Петербурге увеселительное заведение, украшение которого составляет девица Филиппе. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина*)

¹² заблуждениями (*лат.*)

Все это так умно и основательно, что не согласиться с этими доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнев. Но не могу не сказать, что мне, как человеку, тронутому "бреднями", все-таки, по временам, представляются кое-какие возражения. И, прежде всего, следующее: что же, однако, было бы хорошего, если б сарматы и скифы и доднесь гоняли бы Макаровых телят? Ведь, пожалуй, и мы с вами паслись бы в таком случае где-нибудь на берегах Мьи? ¹³

Похоже на то, что паслись бы. Как ни ненадежна пословица, упразднившая римскую империю, но сдается, что если б она не пользовалась такою популярностью, то многое из того, что ныне заставляет биться наши сердца гордостью и восторгом, развилось бы совсем в другом направлении, а может быть, и окончательно захирело бы в зачаточном состоянии. Могло ли бы, например, состояться призвание варягов, если бы "errare" своевременно не повредило восточную римскую империю и через то не заставило бы ее околоточных смотреть на этот факт сквозь пальцы? А если бы не состоялось призвание варягов, то не было бы удельного периода, не было бы боярина Кучки и основания Москвы, не было бы основания города Санкт-Петербурга и учреждения института урядников. Вот что наделало errare humanum est. Имеем ли же мы право так строго относиться к нему?

Вообще ничто в мире не пропадает даром, милая тетенька. В сущности, и восточная римская империя не пропала, а только места, насиженные "порфирородными" и "багрянородными", заняли "Мохамедовы сыны". "Порфирородные"-то ушли, а восточные римляне и при "Мохамедовых сынах" остались при прежних занятиях, с тем лишь изменением, что уж не "багрянородные", а Мохамедовы сыны мужей обратили в рабство, а жен и дев (которые получше) разобрали по рукам. Но, бог даст, и Мохамедовы сыны уйдут, а на их месте явятся или Георг греческий, или Карл румынский, или Милан сербский, или, наконец, Баттенбергский принц. А восточные римляне по-прежнему останутся при своих занятиях, и, по-прежнему, Баттенбергский принц мужей обратит в рабство, а жен и дев уведет в плен. И все это совершится при помощи errare humanum est.

Но, может быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть и независимо от errare humanum est... Совершенно с вами согласен. Как могли бы возникнуть? – да так, как-нибудь. Тут "тяп", там "ляп" – смотришь, ан и "карабь". В ляповую пору да в типовых головах такие ли предприятия зарождаются! А сколько мы липовых пор пережили! сколько типовых голов перевидели!

Но этого мало. Оставим в стороне события мирового значения и обратимся к нашей обыкновенной, будничной действительности. И тут мы на каждом шагу убеждаемся, какие глубокие следы повсюду оставило после себя errare humanum est. Эти прелестные ботинки, которые так обаятельно держат в плену вашу ножку, – они плод заблуждений, потому что "башмачник" бесчисленное множество столетий заблуждался, плетя лапти или выкраивая из сырых кож безобразные пироги, покуда, наконец, дошел до того перла создания, который представляет собой современная изящная ботинка. Эти прошивочки, сквозь которые пробивается нечто пленительно-розовое, – и они плод заблуждений, потому что трудно даже представить себе, милая тетенька, что вышло бы, если бы горькая необходимость заставила вас украсить вашу грудку *первыми* кружевами, сплетенными *первой* кружевницей (говорят, будто в Кадниковском уезде плетут хорошие кружева, не верьте этому, голубушка!). Эти отлично выпеченные, мягкие как пух булки, которые мы едим, – плод заблуждений; ибо *первый* хлебник непременно начал с месива, которого в наше время не станет есть даже «торжествующая свинья» (см. «За рубежом», гл. VI). Даже малороссийское сало – уж на что гаже! – и то плод заблуждений, потому что прототип его есть сало, которым современные нам кабатчики смазывают оси своих «купецких»

¹³ Старинное название реки Мойки. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

тележек. А у нас с вами оси патентованные (смазываемые особенным составом), потому что мы ездим в изящных каретах, первообраз которых, однако ж, представляет собою... телега!

Когда все это, и мировое и будничное, представляется уму во всех деталях и разветвлениях и когда, в то же самое время, в ушах звенят клики околоточной литературы, провозглашающей упразднение девиза, благодаря которому мы имеем крупновские пушки, ружья-шаспо и филипповские калачи, – право, становится жутко. Так вот и кажется, что сейчас принесут корыто с месивом и скажут: лакай! Или заставят бежать в лес и там собственными зубами зайцев ловить. Изловим, перекусим косому горло, в крови перепачкаемся да так сырем все нутро до самой мездры и выедем! И потеряем при этом и ощущение холода, и ощущение стыда; будем мчаться по горам и по долам без перчаток, с нечищеными ногтями, с обвислыми животами (вспомните: в старину москвичи называли рязанцев "кособрюхими" – стало быть, такой пример уж был), с обросшими шерстью поясницами, а быть может, и с хвостами! Потому что все это: и ощущение холода, и ощущение стыда, и упругие животы, и выхолненные поясницы – все это последствия *errare humanum est*.

Таковы соображения, которые возникают во мне при мысли о третьем нынешнем общем правиле. И не могу не сознаться, что при существовании их подчинение этому правилу становится делом очень тяжелым, почти несносным.

* * *

Тем не менее, как ни жаль расставаться с тем или другим излюбленным девизом, но если раз признано, что он «надоел» или чересчур много хлопот стоит – делать нечего, приходится зайцев зубами ловить. Главное дело, общая польза того требует, а перед идеей общей пользы должны умолкнуть все случайные соображения. Потому что общая польза – это, с одной стороны... а впрочем, что бишь такое общая польза, милая тетенька?

В старину мы были не особенно сильны по части определений и в большинстве случаев полагали так: общая польза есть польза квартальных надзирателей. Или, говоря другими словами, общая польза есть то, что приносит надзирателям доход (безгрешный) или обеспечивает их спокойствие. Но ныне это учение признается уже неудовлетворительным, и сами участковые надзиратели откровенно заявляют, что не ради их общая польза существует, а, напротив того, они ради общей пользы получают присвоенное содержание. Подобно сему должны мыслить и прочие обыватели, хотя бы и без надежды на получение содержания.

Именно так я и поступаю. Когда мне говорят: надоело! – я отвечаю: помилуйте! хоть кого взбесит! Когда продолжают: и без *errare* хлопот много – я отвечаю: чего же лучше, коли можно прожить без *errare*! Когда же заканчивают: не заблуждаться по нынешнему времени приличествует, а внушать доверие! – я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный вид, беру в руку тросточку и выхожу гулять на улицу.

Теперь лето, и на петербургских улицах пропасть рабочего люда. Необходимо, чтоб эти люди питали доверие. Бредет какой-нибудь Радимич или Корела, с лопатой и киркой на плече, и непременно вздыхает (и об чем это они все вздыхают?). И вот навстречу его вздохам сорвался с цепи человек, у которого на лбу так и горит: "в надежде славы и добра"... Смотрит на него Корела и долго ничего не понимает. Однако ж постепенно окриляется, окриляется – и вдруг мысль: ведь это значит, что недоимки простят! И что же! куда разом все подевалось: и вздохи, и давленный вид! Пошел Корела как ни в чем не бывало лопатой поковыривать, киркой постукивать... Бог в помощь, Корела!

Вы скажете, может быть, что это с его стороны своего рода "бредни", – так что ж такое, что бредни! Это бредни здоровые, которые необходимо поощрять: пускай бредит Корела! Без таких бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше странствие... спросите у

вашего доброго деревенского старосты, чем было бы наше земное странствие, если б нас не поддерживала надежда на сложение недоимок?

На днях я зашел в курятную лавку и в одну минуту самым простым способом всем тамошним "молодцам" бальзам доверия в сердца пролил. "Почем, спрашиваю, пару рябчиков продаете?" – Рубль двадцать, господин! – Тогда, махнув в воздухе тросточкой, как делают все благонамеренные люди, когда желают, чтобы, по щучьему велению, двугривенный превратился в полумимпериал, я воскликнул: "Истинно говорю вам: не успеет курица яйцо снести, как эта самая пара рябчиков будет только сорок копеек стоить!"

Почему я это сказал и каким образом оно у меня вышло – я сам не могу объяснить. Вероятнее всего, что я солгал (нынче общее правило: лгать, покуда не уличат). Но надо было видеть, как эти простодушные люди при моих словах встрепнулись и ободрились. "Да мы всей душой!", "да для нас же лучше!", "да у нас тогда отбоя от покупателей не будет!" – только и слышалось со всех сторон. И заметьте, что я ни одним словом об "таксе" не намекнул. Ибо "такса" напоминает отчасти о социализме, отчасти о бывшем министре внутренних дел Перовском и отчасти о водевилисте Каратыгине, который в водевиле "Булочная" возвел учение о "таксе" в перл создания. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce bas monde!* ¹⁴ – как сказал некогда Ламартин.

Такова программа всякого современного деятеля, который об общей пользе радуется. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по лавкам и... внушать доверие. Ибо ежели мы не будем ходить по лавкам, то у нас, пожалуй, на вечные времена цена пары рябчиков установится в рубль двадцать копеек. Подумайте об этом, тетенька!

Только уж само собой разумеется, что если мы решаемся "внушать доверие", то об еггате надо отложить попечение и для себя и для других. Потому что, в противном случае, возьмет "молодец" в руки счета, начнет прикладывать да высчитывать, и окажется, что ничего дешевого у нас в будущем, кроме кузьки да гессенской мухи, не предвидится.

* * *

Таким образом, оказывается, что «внушать доверие» значит перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искушенную бредом). Например, мы с вами обязываемся воздерживаться от бредней, а Корела пусть бредит. Мы с вами пусть не надеемся на сложение недоимок, а Корела – пусть надеется. И все тогда будет хорошо, и мы еще проживем. Да и как еще проживем-то, милая тетенька!

Но что же нужно сделать для того, чтобы забредило такое подавленное суровою действительностью существо, как Корела? – Очень немного: нужно только иметь наготове запас фантастических картин, смысл которых был бы таков: вот радости, которые тебя впереди ожидают! Или, говоря другими словами, надобно постоянно и без усталости лгать.

Отсюда, новый девиз: *humanum est mentire* ¹⁵, которому предназначено заменить вышедшую из употребления римскую пословицу, и с помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать наш жизненный обиход. Весь вопрос заключается лишь в том, скоро ли нас уличат? Ежели не скоро – значит, мы устроились до известной степени прочно; ежели скоро – значит, надо лгать и устраиваться сызнова.

Задача довольно трудная, но она будет в значительной мере облегчена, ежели мы дисциплинируем язык таким образом, чтобы он лгал самостоятельно, то есть как бы не во рту находясь, а где-нибудь за пазухой.

Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что между прежним, так сказать, дореформенным лганьем и нынешним такая же разница, как между лимоном, только что

¹⁴ Все связано, все переплетено в этом жалком мире! (*франц.*)

¹⁵ человеку свойственно лгать (*лат.*)

сорванным с дерева, и лимоном выжатым. Прежнее лганье было сочное, пахучее, ядреное; нынешнее лганье – дряблое, безуханное, вымученное.

Дореформенные лгуны составляли как бы особую касту (не всякий сознавал себя достаточно одаренным), вроде старинных "явных прелюбодеев" или нынешних рассказчиков из народного быта. Они лгали не от нужды, а потому, что "веселие Руси есть лгати". Поэтому лганье их было восторженное, художественно-образное и чуждое всякой тенденциозности. Память о лгунах нашей черноземной полосы жива и поднесь; но увы! старые тамбовцы-лгуны постепенно вымирают, а потомки их, пропившиеся и прогоревшие, довольствуются невнятным бормотанием.

Я помню, как при мне однажды тамбовский лгунице рассказывал, как его (он говорил: "одного моего друга", но, по искажениям лица и дрожаниям голоса, было ясно, что речь идет о нем самом) в клубе за фальшивую игру в карты били. Сначала вымазали горячей котлеткой лицо; потом приклеили к голой спине бубнового туза; потом, встряхнув, поставили на колени и велели прощения просить и, наконец уж, начали настоящим образом бить. Кто-то крикнул: вымазать ему, мерзавцу, дегтем спину! – но тут уж полициеймейстер вступился. Передавая эти потрясающие подробности, рассказчик видимо переживал незабвенные минуты, о которых повествовал. Когда речь шла о котлете – его лицо сжималось и голова пригибалась, как бы уклоняясь от прикосновения постороннего тела; когда дело доходило до приклейки бубнового туза, спина его вздрагивала; когда же он приступил к рассказу о встряске, то простирали руки и встряхивал ими воображаемый предмет. Одним словом, выходило и образно и талантливо. Но в то же время было несомненно, что он, по крайней мере, на две трети налгал. Взявши в основу истинное происшествие, он постепенно увлекался художественными инстинктами (а может быть, и состраданием к самому себе) и доходил до небылиц. Скажи он просто: били! – право, этого было бы совершенно достаточно, чтоб пробудить жалость во всех сердцах. Но у него горело воображение, но сердце его учащенно билось и накипающие слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!

Так что в заключение, позабыв, что рассказывает о друге, и отождествив себя с ним, он воскликнул:

– Вот она, ключица-то! это мне ее в ту пору переломили! Чисто отделали... а?

Смотрим: ключица как ключица – целехонька! Ах, Иван Иваныч!

Словом сказать, еще немного – и эти люди рисковали сделаться беллетристами. Но в то же время у них было одно очень ценное достоинство: всякому с первого же их слова было понятно, что они лгут. Слушая дореформенного лжеца, можно было рисковать, что у него отсохнет язык, а у слушателей уши, но никому не приходило в голову основывать на его повествованиях какие-нибудь расчеты или что-нибудь серьезное предпринять.

Нынче на сцену выступили лгуны малоталантливые, тусклые по форме и тенденциозные по существу.

По форме современное лганье есть не что иное, как грошова будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгун говорит "да" там, где следует сказать "нет", – и наоборот. Только и всего, Нет ни украшений, ни слез, ни смеха, ни перла создания – одна дерюжная, черт ее знает, правда или ложь. До такой степени "черт ее знает", что ежели вам в глаза уже триста раз сряду солгали, то и в триста первый раз не придет в голову, что вы слышите триста первую ложь.

По существу, современное лганье коварно и в то же время тенденциозно. Оно представляет собой последнее убежище, в котором мудрецы современности надеются укрыться от наплыва развивающихся требований жизни; последнее средство, с помощью которого они думают поработить в свою пользу обезумевшее под игом злоключений большинство.

Дерюжность формы в особенности делает нынешнюю ложь опасною. Она отнимает возможность выяснить цели лганья, а стало быть, и устречься от него. Сверх того, лжец новой

формации никогда не интересуется, какого рода страдания и боли может привести за собою его ложь, потому что подобного рода предвидения могли бы разбудить в нем стыд или опасения и, следовательно, стеснить его свободу. Раз навсегда сбросив с себя иго напоминаний и уколов, он лжет нагло, бессердечно и самодовольно, так что даже достаточно проницательные люди внимают ему в недоумении или же, в крайнем случае, видят в его лганье простую бессмыслицу.

Представьте себе, что вы в первый раз очутились в Петербурге и желаете знать, каким образом пройти, например, в Гороховую улицу. И вот первый лжец посылает вас на Обводный канал, а по прибытии туда вас принимает второй лжец и говорит: надо идти на Выборгскую сторону. Вы измучились, погубили пропасть времени, вы в изумлении спрашиваете себя: зачем понадобилась эта мистификация? – а в эту самую минуту к вам подходит третий лжец и советует поискать Гороховую в окрестностях Екатерингофа. Спрашивается: какой имеете вы резон не последовать этому совету? И вы опять губите время, опять изнуряетесь, не понимаете, что такое случилось?

Вот нынешние лгуны каковы.

Я не спорю, что всю эту процедуру охотно проделал бы и дореформенный лгун; но, выполняя ее, он был бы искренно убежден, что это значит "дураков учить". И долго бы заливался смехом при мысли, "какую рожу дурак состроит, когда в Екатерингоф припрет". Нынешний лгун даже подобными неумными мотивами не задается. Он лжет на всякий случай, но лжет не потому, что у него в горле застряла случайная бессмыслица, а потому, что ложь сделалась руководящим принципом его жизни, исходным пунктом всей его жизнедеятельности. Или, говоря другими словами, *он лжет потому, что, по нынешнему времени, нельзя назвать правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю.*

Мне кажется, что в последних, подчеркнутых мною, словах заключается вся разгадка современного лганья. Прежде мы лгали, потому что была потребность *скрасить* правду жизни; нынче – лжем потому, что *боимся притронуться* к этой правде. Как будто в самом воздухе разлито нечто предостерегающее: «Смотри! только пикни! – и все эти основы, краеугольные камни и величественные здания – все разлетится в прах!» Или яснее: ежели ты скажешь правду, то непременно сквозь землю провалишься; ежели солжешь – может быть, время как-нибудь и пройдет.

Понятное дело, что последнее все-таки выгоднее.

* * *

Вероятно, вы удивитесь моим опасениям относительно основ и краеугольных камней. Возможное ли дело, скажете вы, чтоб им угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро в каждом городе заведено по исправнику, а в каждом селении по уряднику, которые только и делают, что наблюдают за незыблемостью краеугольных камней? Да, наконец, и ежечасный опыт ужели не убеждает...

Убеждает, голубушка, и не только убеждает, но даже сомнения не оставляет. Лично я всегда верил в краеугольные камни и продолжаю верить. Нельзя не верить, когда ежечасно собственными глазами видишь, как потрясателя на веревочке ведут в участок и когда ежедневно узнаешь из газет, как ловко с ихним братом распоряжаются в судебных инстанциях. Но согласитесь, что ежели на каждой российской сосне сидит по вороне, которые все в один голос кричат: посрамлены основы! потрясены! – то какую же цену может иметь мнение человека, положим, благонамеренного, но затерянного в толпе? И притом такого, который, вопреки всем вороньим свидетельствам, утверждает, что никогда околоточные надзиратели не были так действительны, никогда основы не стояли так прочно и незыблемо, как теперь? Ведь человек-то этот, пожалуй, подозрительный! Ведь он-то, пожалуй, самый потрясатель и есть!

А сверх того, право, дело совсем не в защите основ и даже не в том, незыблемо ли они стоят или шатаются. Очень это нужно вороньему роду! Ему нужно одно: чтобы в общественном сознании произошел оптический переполюх, благодаря которому и незыблемо стоящие основы казались бы расшатанными и неогражденными. Потому что переполюх развязывает им руки и сообщает их крикам авторитетность. Увы! нынче даже в нашей небогатой численным персоналом литературе (еще недавно столь гадливой) завелись целые рои паразитов, которые только и живут, что переполюхами да неплатежом арендных денег.

Несомненно, что эти каркающие мудрецы – просто-напросто проходимцы. Но они знают, какого рода карканье требуется в данный момент на рынке, – и это обеспечивает им успех. Не факты действительного грабежа и вопиющего предательства священных интересов страны приводят их в негодование, но попытки отнестись к этим фактам сознательно и указать их значение в связи с общим жизненным строем. Подобные указания для них – нож вострый, потому что, когда их формулируют, то они сами создают себя Юханцевыми и Вагонами и начинают мучиться опасениями, как бы не разгадали их игры. Что же удивительного, что они надседаются, каркая: посрамлены основы! потрясены! Это не крик сердца, а только предумышленный отвод глаз. А простодушные люди проходят мимо и думают: должно быть, и действительно наше дело плохо, коль скоро весь сосновый бор поголовно закаркал! И чувствуют, как постепенно ими овладевает оторопь.

Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой все последующие лжи. Вот почему прочная постановка этой лжи прежде всего необходима каркающим мудрецам.

Как истинно русский человек, и я не изъят от простодушия и соединенных с ним предрассудков, а потому воронье карканье и на меня наводит суеверную оторопь, сопряженную с ожиданием грозящей опасности. Помилуйте! ведь от этих распутных птиц всего ждать можно! Ведь их нельзя ни убедить, ни усовестить, потому что они сами себя заранее во всем убедили и простили. Они не чувствуют потребности ни в одной из тех святынь, которые для каждого честного человека обязательно хранить в своем сердце. Нет для них ничего дорогого, заветного, так что даже с представлением об отечестве в их умах соединяется только представление о добыче – и ничего больше. Все это сообщает их деятельности такой размах, такую безграничность свободы, какая обыкновенному смертному совсем недоступна. С неизреченным злорадством набрасываются эти блудницы на облюбованную добычу, усиливаясь довести ее до степени падали, и когда эти усилия, благодаря общей смуте, увенчиваются успехом, они не только не чувствуют стыда, но с бесконечным нахальством и полнейшею уверенностью в безнаказанности срамословят: это мы сделали! мы! эта безмолвная, лежащая во прахе падаль – наших рук дело!

И мы с вами должны сложить руки и выслушивать эти срамословия в подобающем безмолвии, потому что наша речь впереди. А может быть, ни впереди, ни назади – нигде нашей речи нет и не будет!

Конечно, и это карканье, и его постыдные последствия могли бы быть легко устранены, если б мы решились сказать себе: а нуте, вспомните почтенную римскую пословицу, да и постараемся при ее пособии определить, отчего приплод Юханцевых с каждым годом усиливается, а приплод Аристидов в такой же прогрессии уменьшается? Но, к сожалению, не от нас с вами зависит осуществление этого разумного проекта. Воспоминание о падении римской империи так огорошило воображение простодушных россиян, что, несмотря на то, что после того состоялось открытие Америки и изобретение пороха, они все-таки лучше решаются лгать, нежели заблуждаться.

А как бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да блуждали, а некоторые из нас, может быть, нашли бы и просветы. А основы тем временем стояли бы себе да стояли; архистратиги же, препоставленные для наблюдения за нами, записывали бы наши блуждания

на бумажке и сносили бы эти бумажки в комиссию. В какую комиссию? – это безразлично. Зайдите в любой казенный дом – везде хоть какую-нибудь комиссию да найдете. Так вот туда. А в комиссии бумажки наши рассортировали бы, наклеили бы на картонные листы, предмет к предмету, и затем...

Дальнейший ход дела известен. Но какие бы решения комиссия ни приняла, во всяком случае, дело обошлось бы тихо, благородно. В самом крайнем случае, если б не последовало даже никаких решений, то ведь и это уж был бы результат громадный. Во-первых, удовлетворена была бы благородная (*humanum est* – что может быть этого выше!) потребность блуждания; во-вторых, краугольные камни были бы основательно ошупаны, и оказалось бы, что они целехоньки...

И что ж! вместо всего этого мы предпочитаем городить какую-то фантастическую чепуху на том только основании, что заблуждения, дескать, могут что-то подорвать, а в лгание якобы заключается творческая сила!

Однако я замечаю, что на каждом шагу вступаю в противоречия. С одной стороны, я очень хорошо понимаю, что, ввиду общей пользы, необходимо отказаться от заблуждений; но, с другой стороны, как только начну приводить это намерение в исполнение, так, незаметно для самого себя, слагаю заблуждениям панегирик. Но, право, это зависит не от меня. Вся обстановка нашего существования такова, что никаким образом от двоегласия не убежишь. В молодости за нами наблюдали, чтоб мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службе, так что все усилия наши были направлены к тому, чтоб в одном лице совместить и человека и чиновника. Это ли было не двоегласие? Теперь от нас требуют, чтоб мы исключительно об общей пользе радели, а между тем далеко ли время, когда в "бреднях" (упразднение крепостного права – разве это не величайшая из "бредней"?) не только ничего потрясательного не виделось, но и прямо таковые признавались благопотребными и споспешествующими? Как тут сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно восторжествует и что затем хочешь не хочешь, а все остальное придется "бросить". Но покуда как будто еще совестно. А ну как в этом "благоразумном" поступке увидят измену и назовут за него ренегатом? С какими глазами покажусь я тогда своим друзьям – хоть бы вам, милая тетенька? Неужто ж на старости лет придется новых друзей, новых тетенок искать? – тяжело ведь это, голубушка!

Некоторые полагают, что ренегатам живется хорошо и что они двойные оклады за свое ренегатство получают. Право, это не так. Конечно, по нужде и ренегата иногда чествуют, но внутренне его все-таки презирают. И те презирают, которых он предал, и те, в пользу которых совершил предательство. Последние, впрочем, не столько презирают, сколько спешат надругаться. Они не могут забыть, что ренегат когда-то был их противником, и потому, как только он сбежал из первоначального лагеря, так сейчас его забирают в лапы: попался! теперь только держись! Один подойдет – в лицо плюнет, другой подойдет – плюху даст. А ренегат притворяется, будто не понимает. Но чего ему это притворство стоит... ах, тетенька! Итак, рассказы о двойных окладах и о том, будто бы ренегатов под образа сажают, положительно принадлежат к области баснословия. Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тех пор, пока не успеют выкупать его в помоях; когда же убедятся, что он по уши погрузился в золото и что возврат в первобытное состояние для него уж немыслим, то ограничиваются скудными подачками и изобильными пинками. Ренегат, прочно утвердившийся на высоте, – редкость; но и такому обыкновенно, по смерти, втыкают в могилу осиновый кол.

Впрочем, все, что я сейчас об ренегатах сказал, – все это *прежде было*. А впредь, может быть, и действительно их будут кормить брусникой, сдобренной тем медом, о котором в песне поется. Ничего – съедят. Недаром же масса кандидатов на это звание с каждым днем все увеличивается да увеличивается.

И все-таки рано или поздно, а придется "бросить". Ибо жизненная машина так премудро устроена, что если не "бросишь" *motu proprio*¹⁶, то все равно обстоятельства тебя к одному знаменателю приведут. А в практическом отношении разве не одинаково, отчего ты кувыркаешься: оттого ли, что душа в тебе играет, или оттого, что кошки на сердце скребут? Говорят, будто в сих случаях самое лучшее – помереть. Но разве это разрешение?

Итак, во имя "общей пользы"! Воспрянемте, тетенька, и будемте лгать! Господи, благовослови!

Прежде всего установим исходный пункт: основы потрясены. Повторяю: это будет ложь несомненная, но она необходима для прикрытия всех остальных лжей. Она огорошит общество и сделает его способным принимать небылицы за правду, действительность накарканную за действительность реальную. А это для нас – самое важное.

Что нужды, что основы и не думают шататься, – пускай простодушные люди верят, что они не только шатаются, но и окончательно посрамлены. Это поразит их воображение, а нам поможет из них веревки вить. Пускай они мечутся в нелепом переполохе – мы скажем им, что это переполох спасительный, в конце которого стоит торжество "общей пользы". Пускай в слепом недоумении они остервеняются ввиду всякой попытки ввести в жизнь элемент сознательности – мы поощрим эти остервенения, потому что как только мы допустим вторгнуться элементу сознательности, так тотчас же, вслед за этим вторжением, исчезнет все наше обаяние, и мы сойдем на степень обыкновенных огородных пугал.

Вот, милая тетенька, что такое та общая польза, ради которой мы с таким самоотвержением обязываемся применять к жизни творческую силу лганья. Предоставляю вашей проницательности судить, далеко ли она ушла в этом виде от тех старинных определений, которые, как я упомянул выше, отождествляли ее с пользой квартальных надзирателей. Я же к сему присовокупляю: прежде хоть квартальные "пользу" видели, а нынче...

Подумайте только! пара рябчиков рубль двадцать копеек стоит – надо же чем-нибудь этот факт объяснить! Хорошо, что я нашелся, предсказав, что не успеет курица яйцо снести, как та же самая пара рябчиков будет сорок копеек стоить (это произвело так называемое "благоприятное" впечатление); но, во-первых, находчивость не для всех обязательна, а во-вторых, коли по правде-то сказать, ведь я и сам никакой пользы от моего предсказания не получил. И на другой день с меня те же рубль двадцать взяли, и на третий, и так до сих пор. Стало быть, надо утешить и меня. А чем же целесообразнее можно утешить, как не утверждением, что всему причина – потрясение основ?

Или еще: стонут Древляне, оголтели Радимичи, а Корела даже не помнит, с которых пор одной пушиной питается. Надо утешить и их: успокойся, Корела! дай только с основами управиться, и все будет: и мамон чистым хлебом набьешь, и недоимки очистишь!

Покуда Корела верит в страшные слова, покуда ее можно ошеломлять упоминанием о "потрясенных основах", надо пользоваться ее простодушием. Надо, чтоб она постоянно видела впереди благополучные перспективы, всеминутно верила, надеялась и ждала, но под одним неперменным условием: что все сие лишь тогда совершится, когда краеугольные камни будут утверждены.

* * *

Одно только смущает меня, милая тетенька. Многие думают, что вопрос о пользе «отвода глаз» есть вопрос более чем сомнительный и что каркать о потрясении основ, когда мы отлично знаем, что последние как нельзя лучше ограждены, – просто бессовестно. А другие идут еще дальше и прямо говорят, что еще во сто крат бессовестнее, ради торжества заведомой лжи,

¹⁶ по собственному побуждению (*лат.*)

производить переполох, за которым нельзя распознать ни подлинных очертаний жизни, ни ее действительных запросов и стремлений.

Несмотря на то, что адепты "общей пользы" грозят заполнить вселенную, мнения об их бессовестности от времени до времени еще прорываются в обществе и, признаюсь, порядочно-таки колеблют мою готовность плыть по течению. Сущность этих мнений заключается в том, что потрясательная практика должна быть тщательно отделена от общего хода жизни и что ведать этой практикой надлежит людям особенным, нарочито к тому приспособленным. Пускай они ловят потрясателей, но пускай эта ловля не препятствует естественному росту жизни...

Не знаю, может быть, я и не прав, но эта теория мне по душе, и кажется, что недолге она восторжествует. Поэтому даже могу подать вам благой совет. Ежели ваш урядник обратится к вам с просьбой: "вместо того, чтобы молочными-то скопами заниматься, вы бы, сударыня, хоть одного потрясателя мне изловить пособили!", то смело отвечайте ему: "мы с вами в совершенно различных сферах работаем; вы – обязываетесь хватать и ловить, я обязываюсь о преуспевании молочного хозяйства заботиться; не будем друг другу мешать, а останемся каждый при своем!" Я положительно убежден, что сам исправник, ежели только ему верно будет передан ваш ответ, – и тот скажет, что вы правы.

Потому что, ежели мы все бросимся хватать и ловить, то кончится тем, что мы друг друга переловим и останемся в дураках.

И не будет у нас ни молока, ни хлеба, ни изобилия плодов земных, не говоря уже о науках и искусствах. Мало того: мы можем очутиться в положении человека, которого с головы до ног облили керосином и зажгли. Допустим, что этот несчастливый и в предсмертных муках будет свои невзгоды ставить на счет потрясенным основам, но разве это облегчит его страдания? разве воззовет его к жизни?

А лгуны – где они будут тогда? придут ли они на помощь к погибающему? принесут ли ему облегчение? Нет, не придут и не принесут, потому что им незачем приходить и нечего принести. Совершивши свое неистовое дело, они поспешат уйти прочь, чтобы продолжать пропаганду человеконенавистничества дальше и дальше.

Весь запас, который они могут предложить на предмет дальнейшего существования, ограничивается ранами, скорпионами и лексиконом неистовых восклицаний: держи! лови! Этот запас представляет *единственную правду*, которую каркающие мудрецы имеют за собой. Все остальное – и угрозы, и перспективы – все это не более как лганье, пущенное в ход ради переполоха, имеющего дать им возможность ловить рыбу в мутной воде.

Но можно ли жить с одними скорпионами, хотя бы и сдобренными лганьем?

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Милая тетенька!

Вы упрекаете меня в молчании, а между тем, право, более аккуратного корреспондента, нежели я, едва ли даже представить себе можно. Свидетели могут подтвердить, что я каждое-сячно к вам пишу, но отчего не все мои письма доходят по адресу – не знаю. Во всяком случае, это так меня встревожило, что я отправился за разъяснениями к одному знакомому почтовому чиновнику и, знаете ли, какой странный ответ от него получил? "Которые письма не нужно, чтоб доходили, – сказал он мне, – те всегда у нас пропадают". Но так как этот ответ не удовлетворил меня и я настаивал на дальнейших разъяснениях, то приятель мой присовокупил: "Никаких тут разъяснений не требуется – дело ясно само по себе; а ежели и существуют особенные соображения, в силу которых адресуемое является равносильным неадресованному, то тайность сию, мой друг, вы, лет через тридцать, узнаете из "Русской старины".

С тем я и ушел, что предстоит дожидаться тридцать лет. Многолько это, ну, да ведь ежели раньше нельзя, так и на том спасибо. Во всяком случае, теперь для вас ясно, что ваши упреки мной не заслужены, а для меня не менее ясно, что ежели я желаю переписываться с родственниками, то должен писать так, чтобы мои письма заслуживали вручения.

Ясно и многое другое, да ведь ежели примешься до всего доходить, так, пожалуй, и это письмо где-нибудь застрянет. А вы между тем уж и теперь беспокоитесь, спрашиваете: жив ли ты? Ах, добрая вы моя! разумеется, жив! Слава богу, не в лесу живу, а тоже, как и прочие все, в участке прописан!

Вообще я нынче о многом сызнава передумываю, а между прочим и о том: отчего наши письма, от времени до времени, не доходят по адресу? – и знаете ли, *к какому я заключению пришел?* – сами мы во всем виноваты! Письма надо писать кратко и складно, чтобы сразу можно было понять, в чем суть, а мы пишем пространно и нескладно; в письмах надобно излагать лишь нужные предметы, а остальное посвящать родственным излияниям, а мы наши письма наполняем околичностями, а об родственных чувствах умалчиваем. Вот как, по-настоящему, следует писать: "Милая тетенька! Я, слава богу, жив и здоров, чего и вам от души желаю! Вчера был день рождения покойного дяденьки, и я надеюсь, что вы провели оный в молитве! Но отчаиваться, однако ж, не следует, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! Живите – не бойтесь! но, главное, старайтесь находиться в мире с соседями. Потому что всё это сведущие люди ¹⁷. И я тоже живу, не боюсь, но стараюсь быть в ладу с дворниками. И, слава богу, веду себя, кажется, хорошо!! На днях призывал меня наш околоточный и говорит: вы так хорошо себя ведете, что ожидайте публичной похвалы!! В чем же, говорю, она похвала будет состоять?! Однако ж он не открыл, а только усмехнулся и молвил: лучше, как сами своевременно сей сюрприз узнаете. И не велел отлучаться из дома, дабы похвалы не прозевать. И я сижу теперь в ожидании!!! Братцам и сестрицам потрудитесь передать мой сердечный привет: я думаю, выросли. А у нас всё благополучно, только говядина сильно вздорожала, так что вынуждены мы с сим продуктом обходиться осторожно. Вообще, у кого аппетит хорош, тот должен ныне или сокращать оный, или же стараться как можно чаще в гостях обедать. Но тогда те, к коим начнем «запросто» учащать, могут вознегодовать. Затем, целуя ваши ручки, остаюсь любящий вас племянник" и т. д. В таком виде письмо, наверное, ни в огне не сторит, ни в воде не потонет, а так-таки целёхонькое и дойдет по адресу.

Но ведь вы у меня такая любопытная, что, наверное, спросите: что же заключалось в том письме, которое до вас не дошло? – Но этого-то именно я и не могу вам открыть, потому

¹⁷ Писано в 1881 году, когда на «сведущих людях» покоились все упования России, а издано в 1882 году, когда представление о сведущих людях сделалось равносильным представлению о «крамоле». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

что если начну открывать, то и это письмо непременно не дойдет. Скажу только, что письмо было длинное, и содержание его было интересное. Тем не менее, если б мы с вами жили по ту сторону Вержболова (разумеется, оба), то несомненно, что оно было бы вами получено. Я, впрочем, крепко надеюсь на "Русскую старину": когда-нибудь она это письмо напечатает. Но во всяком случае вы можете быть уверены, что я основ не потрясал.

Вы мой образ мыслей знаете, а дворники знают, сверх того, и мой образ жизни. Я ни сам с оружием в руках не выходил, и никого к тому не призывал и не поощрял. Когда я бываю за границей, то многие даже тайные советники меня, в этом отношении, испытывают и остаются довольны. "Но отчего же у вас такая репутация?" – спрашивал меня на днях один из них в Париже. – Не могу знать, ваше превосходительство, – отвечал я, – так что-нибудь... И так я был счастлив, голубушка, что мог хоть сколько-нибудь поправить свою репутацию в глазах этих могущественных людей! Хотел было, в знак благодарности, несколько сцен из народного быта им рассказать, но вдруг отчего-то показалось подло – я и промолчал.

Как бы то ни было, но в пропавшем письме не было и речи ни о каких потрясениях. И, положив руку на сердце, я даже не понимаю... Но мало ли чего я не понимаю, милая тетенька?.. Не понимаю, а рассуждаю... все мы таковы! Коли бы мы понимали, что, не понимая... Фу, черт побери, как, однако же, трудно солидным слогом к родственникам писать!

Нынче вся жизнь в этом заключается: коли не понимаешь – не рассуждай! А коли понимаешь – умей помолчать! Почему так? – а потому что так нужно. Нынче всё можно: и понимать и не понимать, но только и в том и в другом случае нельзя о сем заявлять. Нынешнее время – необыкновенное; это никогда не следует терять из виду. А завтра, может быть, и еще необыкновеннее будет, – и это не нужно из вида терять. А посему: какое пространство остается между этими двумя дилеммами – по нем и ходи.

Помнится, впрочем, что я всю жизнь по этому коридору ходил и всё старался, как бы лбом стену прошибить. Иногда стена как будто и подавалась – ах, братцы, скорее за перья беритесь! Но только что, бывало, начнет перо по бумаге скользить – смотришь, ан и опять твердины вокруг. Ах, тетенька, что такое мы с вами? всем естеством мы люди несвоевременные, ненужные, несведущие! Натурально, что мы можем только путать и подрывать. Однако странно, какая у этих ненужных людей сила. Шутя напутают, а краеугольные камни, смотришь, в опасности.

* * *

Вы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мне живется? Хорошо-то хорошо, а всё-таки не знаю, как сказать. Притеснений – нет, свобода – самая широкая; даже трепетов нет – помните, как в те памятные дни, когда, бывало, страшно одному в квартире остаться – да вот поди ж ты! Удивительно как-то тоскливо. Атмосфера словно арестантским чем-то насыщена, света нет, голосов не слышать; сплошные сумерки, в которых витают какие-то вялые существа. Куда бредут эти существа и зачем бредут – они и сами не знают, но, наверное, их можно повернуть и направо, и налево, и назад – куда хочешь. Всем как-то всё равно. В самых интимных кружках разговоры ведутся какие-то прошлогодние, а иногда и прямо нелепые, а когда идешь вечером по улице, то просто даже оторопь берет. Такого обилия неосвещенных окон никто не запомнит: точно все собрались говеть. А если и видишь где-нибудь в окне огонек, то, наверное, там, при трепетном свете керосиновой лампы, какой-нибудь современный Пимен строчит и декламирует:

Еще одно облыжное сказанье,
И извещение окончено мое...

Тихо, тетенька! чересчур уж тихо. Не то чтобы что-нибудь непосредственно грызло, как, помните, в то время, когда всякий сам перед собой исповедовался, а просто самая жизнь как будто оборвалась. Коли хотите, и среди этой тишины, от времени до времени, раздается полемика, но односторонняя и как-то чересчур уж победоносная. Захрюкает вдруг свинья, или кто-нибудь из подсвинков и поросят – и сразу победят. Налгут, наябедничают и, не вызвавши возражений, потонут в собственном навозе. И никто не удивляется, что только изъеденные трихинами голоса свободно раздаются в пространстве; напротив, все как бы убедились, что это единственно подходящая формула, которую способна была отыскать для себя торжествующая современность.

Такая же тоскливая вялость и в литературе. Трихинные-то голоса, по преимуществу, в ней и раздаются. В былое время только один хлев на всю литературу полагался, а нынче их считают десятками. И везде раздается победоносное хрюканье, везде кого-нибудь чавкают. Мысль потускнела, утратила всякий вкус к "общечеловеческому"; только и слышишь окрики по части благоустройства и благочиния. Страстность заменена животненной злобою, диалектика – обвинениями в неблагонадежности... может ли быть что-нибудь более омерзительное? И, право, никто, кажется, не жалеет, что уровень литературы так низко пал. Напротив того, и на улицах, и в распивочных домах без всяких околичностей провозглашают: давно пора на эту паскудную литературу намордник надеть! На днях захожу в ресторан закусить – смотрю, Расплюев около буфета так и закатывается! Хлещет литературу по чем попало, да и шабаш. "Расплюев! – говорю я ему, – да вы вспомните, что у вас на лице нет ни одного места, на котором бы следов человеческой пятерни не осталось!" А он в ответ: "Это, говорит, прежде было, а с тех пор я исправился!" И что же! представьте себе, я же должен был от него во все лопатки удирать, потому что ведь он малый серьезный: того гляди, и в участок пригласит! Но воображаю я, кабы выискался молодец, который сказал бы в Англии, во Франции или в Германии, что на литературу намордник надеть надо, сколько бы он в один день постороннего кала съел!

Я знаю многих, которые утверждают, что только теперь и слышатся в литературе трезвенные слова. А я так, совсем напротив, думаю, что именно теперь-то и начинается в литературе пьяный угар. Воображение потухло, представление о высших человеческих задачах исчезло, способность к обобщениям признана не только бесполезною, но и прямо опасною – чего еще пьянее нужно! Идет захмелевший человек, тыкаясь носом в навозные кучи, а про него говорят: вот от кого услышим трезвенное слово.

Да, хоть и ладно, по-видимому, живется, а все-таки думаешь: куда бы от этой жизни деваться? Злости чересчур уж много завелось – никогда столько не бывало. Иной совсем ничего не смыслит, а тоже, глядя на других, злобствует. И нет этой бессодержательной злобе отпора. Ругаются, пасквильянтствуют, ханжат, брызжут бешеной пеной, стучат пустыми дланями в пустые перси, грозят очами и – что всего ужаснее – хранят полную уверенность, что противная сторона будет безмолвствовать. Обвинения сыплются как из рога изобилия, обвинения бессмысленные, которые сам обвинитель ни объяснить, ни поддержать не может, но которые тем не менее считаются непререкаемыми. Возражают на это, что ведь и последствий ощутительных от этих обвинений нет... Однако ведь это смотря по тому, что разуметь под именем "ощутительных последствий". Для иного ведь и то уж "ощутительно", что этим паскудным обвинениям нет отпора...

Иногда мне представляется вопрос: поддастся ли наше общество наплыву этого низкопробного озлобления, которое до остервенения набрасывается на все, выходящее за пределы хлевой атмосферы, или же оно будет только наружно окачено им, внутренне же останется верным тем инстинктам порядочности, которая до сих пор, от времени до времени, прорывалась в нем? – И знаете ли, к какому я пришел убеждению? – непременно останется верным порядочности. Как ни запугано наше общество, как ни слабо развито в нем чувство самостоятельности, но несомненно, что внутренние сочувствия его направлены в сторону доброго и

плодотворного дела. Это единственное – и, надо сказать, весьма доброкачественное – утешение, которое представляется человеку, осужденному безмолвно стоять, в качестве обвиняемого, перед сонмищем невежественных и злых уличных лоботрясов.

Но спрашивается: насколько подобные утешения могут поддерживать в человеке охоту к жизни?

.....

Однако, чего доброго, вы упрекнете меня в брюзжании и преувеличениях. Вы скажете, что я нарисовал такую картину жизни, в которой, собственно говоря, и существовать-то нельзя. Поэтому спешу прибавить, что среди этой жизни встречаются очень хорошие оазисы, которые в значительной мере смягчают общие суровые тоны. Один из таких оазисов устроил я сам для себя, а следовательно, и всем прочим не препятствую последовать моему примеру.

Все прошлое лето, как вам известно, я пропал за границей (ужасно, что там про нас рассказывают!) и все рвался оттуда домой. А между тем ведь там, право, недурно. Какие фрукты в Париже в сентябре! какие рестораны! какие магазины! какая прелестная жизнь на бульварах!

Утром, натурально – газеты. Нарочно выбираешь самые зазорные, думаешь: надо же за границей все заграничные чувства испытать, а между прочим и чувство петролейщика. То есть не то чтобы сделаться оным, а так, сидя за кофеем, вдруг воскликнуть: а! так вот оно что! Но, к удивлению, читаешь-читаешь и, после двухчасового шуршанья газетной бумагой, испытываешь только одно чувство: что в голове сумбур. Тогда принимаешься за свои родные газеты (их почта приносит несколько позднее): тут сумбура нет, а только как будто ничего не читал.

Смотришь, утро-то и прошло. Вечером – в театре. Дают: "Niniche"¹⁸, «La biche au bois»¹⁹, «Divorçons»...²⁰ Жюдик в купальном костюме... ах! А в «La biche au bois» – сразу до полутора почти обнаженных женских тел на сцену брошено! Какой это производит эффект, можно судить по тому, что подле меня один русский сведущий человек сидел, так он ногтями всю бархатную обивку на кресле ободрал и все кричал: пошевеливай! Затем, выйдешь из театра – опять во все стороны праздник. Идешь сплошной линией освещенных ресторанов; потребитель на тротуары высыпал; повсюду – гул мужских и женских голосов; повсюду – свет, движение, довольство... Целые снопы огней льются на улицу, испешренную движущимися фонарями фиакров, а над головой темное, звездное небо, и кругом – теплая, влажная сентябрьская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело и, что важнее всего, точно как будто это так и быть должно... И все-таки идешь в свой отель и только одну думу думаешь: господи! да когда же домой-то, домой!

Приехали. Уж в Вержболове мне показалось, точно я в рай попал. Представьте себе: желтенькие бумажки берут! Что стоит порция рябчика? – шесть гривен. – Вот тебе желтенькая. Берут и... сдачи два двугривенных дают! Ну, а на это что купить можно? – оказывается, что можно выпить два стакана чаю с лимоном и с булками... И все это пресерьезно, точно в самом деле мену производят: ты мне деньги даешь, а я тебе товар отпускаю... Вот что значит отвычка! видишь поступки самые правильные – и глазам не веришь... Все думаешь: как это так? пять минут назад на желтенькую бумажку и смотреть никто не хотел, а тут с руками ее рвут! Ах, немцы, немцы! если б вы только знали, какое будущее этой бумажке предстоит – вы бы... Но нет, лучше до времени помолчим...

Народы завистливы, мой друг. В Берлине над венскими бумажками насмеются, а в Париже – при виде берлинской бумажки головами покачивают. Но нужно отдать справедли-

¹⁸ «Ниниш» (франц.)

¹⁹ «Лань в лесу» (франц.)

²⁰ «Разведемся» (франц.)

вость французским бумажкам: все кельнера их с удовольствием берут. А все оттого, как объяснил мой приятель, краснохолмский негоциант Блохин (см. "За рубежом"), что "у француза баланец есть, а у других прочих он прихрамывает, а кои и совсем без баланцу живут".

Но вот, наконец, и Петербург. Приехали, сыскали рыдван – ах, да не возили ли в нем оспенных? – ну, с богом, трогай! Едем: на улицах чуть брезжит, сверху изморозь, лошади едва ногами перебирают, кнут так и стучит по крышке кареты. Стой! подкова у одной лошади свалилась... И вдруг мысль: а ведь в Париже сегодня "Le monde ou l'on s'ennuie"²¹ дают... Эх, хорошо бы в обратный путь! Конечно, это ложный позыв, но кто же может поручиться в настоящее загадочное время, где кончается действительное желание и где начинается ложный позыв?

Наконец, однако ж, приехали: тпру-у, ка-торж-ные! Лестница освещена, в квартире топлено, на столе – самовар и мягкие филипповские булки. Хорошо, что и говорить. Вот это-то именно и мелькало в Париже, когда так страстно звенела в голове мысль: домой! В представлении о самоваре есть что-то до того ласкающее и притягивающее, что многие связывают с ним даже представление о прочности семейного союза. Как бы то ни было, но цыганским скитаниям – конец. Конец отелям, с их сомнительным проплеванным комфортом, конец нелепой еде в ресторанах и за табльдотами, конец разноязычному говору! Спокойствие, тишина, простор, тепло, настоящий письменный стол, собственные постели, домашняя кухня, пироги... Брусники-то наварили ли? посолили ли рыжичков?

Оказывается, что и насолители и наварили. Да вот еще тетенька отварных белых грибов из деревни прислала!.. ах, тетенька! И какие грибки – один к одному! Шляпки – смуглые, корешки – под самую шляпку срезаны... проказница вы, право! И еще оказывается, что в лавках уж с неделю как кислая капуста показалась – стало быть, завтра к обеду можно будет кислые щи соорудить, а пожалуй, и пирог с свежей капустой затеять... Целую ночь я жил этой надеждой, да и на другой день утром, разбирая бумаги, все думал: а вот ужо щи из кислой капусты подадут!

Вот тихие удовольствия, которые встречают вас дома с первых же шагов и пользованию которыми никто в целом мире, конечно, не воспрепятствует. Но раз вы дали им завладеть собой, тон всей последующей жизни вашей уж найден. И искать больше нечего. "Дворникам-то, дворникам-то дали ли на водку?" – С приездом, вашескородие! – "Благодарю! вот вам три марки!" – У нас, вашескородие, эти деньги не ходят!.. – Представьте себе! "Ну, так вот вам желтенькая бумажка!" – Счастливо оставаться, вашескородие!

Ну-с, господа домочадцы, давайте теперича жить. Кушайте, гуляйте... что бишь еще? Ну, да, впрочем, там видно будет! А покуда кушайте и гуляйте! С дворниками не ссорьтесь, ибо начальство уважать надо. Иностранных слов на улице и в публичных местах не употребляйте, ибо это наводит простодушных слушателей на размышления о сокрытии образа мыслей. Я-то, конечно, знаю, что образ мыслей у вас самый благонадежный, но надобно, чтоб и другие это знали. Поэтому говорите внятно, не торопясь, точно перлы нижете. Пускай слушают.

Кажется, на первый раз довольно, да ведь пора уж и баиньки. Ехали-ехали трое суток, не останавливаясь, – авось заслужили! "Господа дворники! спать-то допускается?" – Помилуйте, вашескородие, сколько угодно! – Вот и прекрасно. В теплой комнате, да свежее сухое белье – вот она роскошь-то! Как лег в постель – сразу качать начало. Покачало-покачало – и вдруг словно; в воду канул.

А на другое утро чай с булками и газеты. А нуте, рассказывайте, что у вас там? Представьте себе, тетенька, всё отлично. Так, впрочем, я и ожидал. Одно только огорчило: письмо мое к вам на почте пропало – ну, да ведь я и другое могу написать. Сел, написал – смотрю: ах, ведь и это должно пропасть! Давай писать третье – и вот оно! А не посмотреть ли в окно, что делается на улице? Дети! бегите! покойника везут! Везут его четверкой под балдахином, впе-

²¹ «В царстве скуки» (франц.)

реди несут на подушках ордена, сзади, непосредственно за колесницей, следуют огорченные родственники, за ними – бесконечная вереница карет. Кого хоронят? – тайного советника и кавалера. Только что начал было надежды подавать – взял да и умер. Четыре дня тому назад был совершенно здоров, утром ездил с визитами, убеждал в необходимости утвердить потрясенные основы, предлагал средства, понравился и воротился домой бодрый, сияющий, обнадеженный. Но, к несчастью, к обеду пришел другой тайный советник, и для дорогого гостя подали к закуске грибов. Оба покушали, но другой-то тайный советник превозмог, а этот – не превозмог. И вот теперь другой тайный советник идет за гробом и рассказывает:

– И всего-то покойный грибов десяток съел, – говорит он, – а уж к концу обеда стал жаловаться. Марья Петровна спрашивает: что с тобой, Nicolas? а он в ответ: ничего, мой друг, грибов поел, так под ложечкой... Под ложечкой да под ложечкой, а между тем в оперу ехать надо – их абонементный день. Ну, не поехал, меня вместо себя послал. Только приезжаем мы из театра, а он уж и отлетел!

Проехала печальная процессия, и улица вновь приняла свой обычный вид. Тротуары ослизли, на улице – лужи светятся. Однако ж люди ходят взад и вперед – стало быть, нужно. Некоторые даже перед окном фруктового магазина останавливаются, постоят-постоят и пойдут дальше. А у иных книжки под мышкой – те как будто робеют. А вот я сижу дома и не робею. Сижу и только об одном думаю: сегодня за обедом кислые щи подадут...

И представьте себе, даже совсем забыл о том, что мне еще придется свой образ мыслей в надлежащем свете предьявить! Помилуйте! щи из кислой капусты, поросенок под хреном, жаркое, рябчики, пирог из яблоков, а на закуску: икра и балык – вот мой образ мыслей!

Полагаю, что этого совершенно достаточно, чтобы заслужить похвалу!

Но вот наконец, послышались очаровательные звуки расставляемых тарелок и стаканов... Еще четверть часа – и на столе миска, из которой валит пар... Тетенька! простите меня, но я бегу... Я чувствую, что в моей русской груди дрожит русское сердце!

* * *

Если б во всех квартирах существовали подобные оазисы – это был бы идеал общежития. Сообразите одно: какое последует сокращение переписки и как обрадуются дворники! И я твердо убежден, что так это и будет, только не надобно торопиться, а тем менее понуждать. Надобно так это дело вести, чтобы всякий человек как бы добровольно, сам от себя сознал, что для счастья его нужны две вещи: пирог с капустой и утка с груздями. А к этому, разумеется, и прочая обстановка: приличная мебель, удобный экипаж, возможность принять двух-трех приятелей и как следует напиться, а вечером пулька или две по маленькой. Но долгов все-таки делать не надлежит.

Само собой понимается, что осуществление подобного идеала доступно преимущественно для культурного человека, ибо для того, чтоб иметь возможность выбирать между уткой с груздями и поросенком с кашей, нужно иметь вольный доход. У кого есть имение – тот пусть с имения получает; кто в разных местах дивидендами пользуется... пусть получает дивиденды. Однако можно и трудовыми деньгами благородно жить и даже рассчитывать в перспективе на хорошее будущее. Получил за работу рубль: полтину проживи, а полтину за процент отдай. Только и всего. Сколько таких полтин в год наберется! да еще проценты на них! А нынче, тетенька, деньги всякому нужны, стало быть, и процент за них сообразный идет. Тут только не зевай.

Конечно, вы, живя в деревне, можете возразить: не всякому, мой друг, доступно полтинники-то откладывать, потому что есть очень многочисленный класс людей... Угадываю я, милая, про какой вы класс говорите, да ведь я этого "класса людей" и не имею в виду. Я и сам это возражение, за границей, тайному советнику Дыбе сделал – и знаете ли, что он мне

ответил? "А прочие пусть пребывают в трудах" – только и всего! Именно так оно на практике и происходит. Есть люди, которые имеют специальностью физический труд, и ежели эта задача выполняется ими исправно, то больше ничего от них и не требуется. Ведь и мы с вами работаем, только в другой сфере, и предки наши тоже работали, а мы теперь пользуемся плодами от трудов их праведных. Таким образом, при правильном порядке вещей, оно и идет: мы – свое дело делаем, а люди физического труда – свое. Но и последним не возбраняется благополучие свое потихоньку воздвигать – и воздвигают. Примеры налицо: Разуваев, Колупаев, а у вас, вы пишете, Финагеич процвел.

А кто этот Финагеич? – не больше, как бывший ваш дворовый человек, который, еще при покойном деденьке, у вас в доме буфетчиком служил. Помните, бывало, он говорил: я, по милости барской, сыт, обут и одет – никакой мне воли не надобно! А между тем оказывается, что он откладывал и все об воле мечтал. Маленькое тогда полагалось буфетчикам жалованьишко – рублей шесть в год, – а он и его уберегал, да найдет, бывало, гривенничек на полу – и его к числу прочих присовокупит. Поедет покойный деденька в дальнюю оброчную вотчину побывать, Финагеича с собой возьмет, а он там сбереженья свои хорошему мужичку за процент отдаст. И делал он это так тихо и благородно, что деденька так и умер, не зная, что у него в буфете капиталист сидит. Помните, он однажды повеситься хотел, чуть живого из петли вынули – это оттого, как он мне потом сознался, что ему вдруг с чего-то показалось, будто барин об его капитале узнал. Только эмансипация и успокоила его; она же и сказала, что у Финагеича коко с соком припасено. Зато он теперь и орудует. Когда яйца в ходу – яйца скупает; когда шерсть нипочем – шерстью занимается. А не то подстерегает, когда с мужичков подати требовать начнут. Кабачок тоже в Ворошилове держит, лавочку. Да и вашей старинной ласки не забывает: на книжку всякую мелочь по домашности отпускает и никакими требованиями об уплате не досаждаст. Только вы не очень все-таки "книжку"-то запускайте, потому что, не ровен час, и не увидите, как ворошиловское-то ваше гнездо к Финагеичу в руки перейдет.

Вы в восхищении от Финагеича, а я и того больше, потому что для меня он пример и доказательство. Я всегда говорил: для того чтоб сделаться Финагеичем, нужно только уметь "подстерегать", а кому же и кто в этом препятствие полагал? А если и встречается препятствие, то оно не от чьей-нибудь воли исходит, а есть следствие естественной и ни от кого не зависящей игры экономических законов. Эта игра не допускает, чтобы *все* держали кабаки, *все* торговали яйцами, *все* подстерегали мужичка. И не допускает правильно, потому что если бы все-то подстерегали, тогда и подстерегать было бы некого. Но повторяю: никто в этом не причинен, а само собою оно так делается. Пути никому не заказаны, а успевает, разумеется, тот, кто острым разумом одарен. Помните вашего Ваньку-форейтора? – так пред ним хоть все двери настежь отворите, он все-таки мимо пройдет. На днях приходит, по старой памяти, ко мне – ну, так ослаб, так ослаб, что на ногах не стоит! Жил прежде в извозчиках, а теперь ни один хозяин даже в этой скромной должности его держать не хочет. Ну, и я, с своей стороны, не только ничего ему не дал, а, напротив, сказал: пеняй, братец, сам на себя! Но пеняет ли он после моего поучения или не пеняет – это уж я сказать не умею.

Однако ж, кажется, я увлекся в политико-экономическую сферу, которая в письмах к родственникам неуместна... Что делать! такова уж слабость моя! Сколько раз я сам себе говорил: надо построже за собой смотреть! Ну, и смотришь, да проку как-то мало из этого самонаблюдения выходит. Стар я и болтлив становлюсь. Да и старинные предания в свежей памяти, так что хоть и знаешь, что нынче свободно, а все как будто не верится. Вот и стараешься болтовней след замести.

В сущности, когда, по прибытии из-за границы, я, обращаясь к домочадцам, сказал: кушайте и гуляйте – я именно настоящую ноту угадал. Но когда я к тому прибавил: а дальше видно будет – то заблуждался. Ничего не будет видно.

На днях, пообедавши, достал я старинные книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого – и стал читать. Хорошо – слова нет, но как-то странно... Для чего все это писалось? Блестящие мысли, раздражающие подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенных слов – ни одного. Скажите, разве современному человеку мечты нужны? нет, ему гораздо приятнее знать, снабжены ли городские свистками и бодрствуют ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуют – он спокоен; ежели не снабжены и спят – он дрожит. Не до Пушкиных нам. Вот когда все устроится прочно, когда во всех сердцах поселится уверенность, что с внутренней смутой покончено, – тогда и опять за Пушкина с Лермонтовым можно будет взяться. Ибо, в сущности, они писали недурно – этого нельзя отрицать.

Не дальше как вчера я эту самую мысль подробно развивал перед общим нашим другом, Глумовым, и представьте себе, что он мне ответил! "К тому, говорит, времени, как все-то устроится, ты такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и Фета с Майковым понимать перестанешь!" Но что всего обиднее: сказать-то не поцеремонился, а обедать остался. За обедом, однако ж, я стал требовать от него объяснения, в каком смысле слова его понимать нужно, и как бы, вы думали, он объяснился? "Да ты, говорит, подойди к зеркалу да и посмотри на себя!" Ну, и домочадцы тут же пристали: посмотрись да посмотрись! Делать нечего, встал, посмотрелся – ан из глаз-то у меня поросенок под хреном глядит!!

* * *

Но обществу до всех этих глумовских превыспренности дела нет; общество хочет жить. Я не знаю, как вам это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта идея и господствует над всем. То есть идея об ограждении человеческой породы от могущих угрожать ей случайностей исчезновения. В одно прекрасное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съезжилось. Вот это-то самое и означает, что «общество» вознамерилось оградить себя от напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни относительно людей, зараженных «бреднями», ни относительно дворников, но как-то уж чересчур проворно перебегают с одной стороны улицы на другую, как только завидит возможность сомнительной встречи. Вы видите целую массу обуреваемых жаждою жизни людей и только удивляетесь храбрости, с которою они рискуют попасть под колеса конножелезнодорожных вагонов и скачущих взад и вперед экипажей.

Да, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаром компетентные люди рассказывают, что встречаются субъекты, которые, имея в перспективе завтрашнее сражение, предпочитают накануне покончить с собой при помощи удавки...

Я вовсе не хочу сказать этим, что господствующий в современном обществе тон – предательство и вероломство. Я говорю только, что над общественным организмом, в каких бы условиях существования он ни находился, всегда тяготеет неперменное желание жить. При благоприятных условиях это желание выражается свободно, естественно; при условиях неблагоприятных – спутанно и уклончиво. Если б можно было ходить по улице "не встречаясь", любой из компарсов современной общественной массы шел бы прямо и не озираясь: но так как жизнь сложна и чревата всякими встречами, так как "встречи" эти разнообразны и непредвиденны, да и люди, которые могут "увидеть", тоже разнообразны и непредвиденны, – вот наш компарс и бежит во все лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть под лошадей.

На мой вкус, эта храбрость не симпатична; однако не могу не сказать в ее оправдание, что при известных условиях она принимает почти обязательный характер. В отношении к отдельным и выдающимся личностям излишнее чувство самосохранения, конечно, не должно считаться особенно похвальным качеством, но общество, взятое в целом, руководится в этом случае совсем иными правилами. Оно *обязывается сохранить себя* даже ценою временного обезличения. Так что, ежели вы видите массы компарсов, перебегающих с одной стороны улицы на другую, под влиянием общественного переполоха, то это совсем не значит, что обще-

ство изменило своим симпатиям и антипатиям, а значит только, что оно не сознает себя достаточно сильным, чтобы относиться самостоятельно к дворницкому игу.

Эпохи, в которые с особенной силой проявляется это общественное двоегласие, суть эпохи очень печальные и, может быть, даже безнравственные. Но нельзя, не впадая в крайнюю несправедливость, относить к обществу то чувство негодования, которое при этом возбуждается. Не оно тут на первом плане, а тот воздух, те миазмы, которыми оно дышит. Ведь оно дышит этими миазмами не добровольно; не потому, что признает их здоровыми, а потому, что деваться от них некуда. А между тем, повторяю, на нем, на этом еле дышащем обществе, лежит фаталистическая обязанность жить. Жить, то есть оградить будущее идущих за ним поколений.

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притом, оно искони идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже засветились в нем. Вот почему я и повторяю, что хлевное ликование может только наружно окатить общество, но не снесет его, вместе с грязью, в водосточную яму. Я, впрочем, не отрицаю, что периодическое повторение хлевных торжеств может повергнуть общество в уныние, но ведь уныние не есть отрицание жизни, а только скорбь по ней.

То же самое явление обезличения несчетное число раз отражалось и на нашей литературе, и именно по преимуществу на той ее части, которая провозглашала принципы человечности и была наиболее предана интересам родины. Бывали для этой литературы времена очень тяжкие, и длились они беспросветно и бессрочно, но она и за всем тем никогда не умолкала. Как бы инстинктивно чувствовала она, что на ней лежит обязанность обереечь будущее человеческой мысли, будущее лучших человеческих стремлений, и что если она хоть на минуту смолкнет, то молчание это будет равносильно смерти. Благодаря этому, она живет и доднесь. Серая, чахлая, еле дышащая, но живет.

Нет зрелища, более надрывающего человеческое сердце, как зрелище общего уныния, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо думать, что общество когда-нибудь погибнет под гнетом этого уныния и что оно вынуждено будет воспринять хлевные принципы в свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже в том случае, ежели она выступает вперед назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себе: нет, этому нельзя стать! не может быть, чтоб бунтующий хлев покорил себе вселенную! Не следует забывать, что хлевные принципы обязаны своим торжеством лишь совершенно исключительным обстоятельствам, которым общество ни в каком случае непричастно. Но ведь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит. И компарсы, так усердно, под гнетом паники, перебегающие через дорогу, дабы уйти от компрометирующих встреч, вновь почувствуют присутствие оживляющих искорок и сумеют отличить тех, которые в минуты уныния поддерживали в обществе веру в жизнь, от тех, которые вносили в него только язву междоусобия.

Я твердо верю, что такой момент наступит и что так называемые "бредни" ежели и не восторжествуют вполне, то, во всяком случае, будут иметь свое значение на весах будущего. Поэтому и вас, милая тетенька, прошу: не ослабевайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязывает. И ежели ваш урядник будет вас убеждать: сударыня! послушайте, какой приятный лай с Москвы несется – не присоедините ли и вы к нему своего собственного? – то отвечайте кратко, но твердо: во-первых, я не умею лаять, а во-вторых, если б и умела, то предпочла бы лаять самостоятельно.

"Бредни" слишком разнообразны по своим целям, чтобы та или другая могла претендовать на непосредственное и всецелое осуществление. Но важно то, что у всех у них основной принцип один: человечность. Подробности и даже некоторыми существенными чертами можно и поступиться, но если даже только одно общее представление о человечности найдет себе достаточно прозелитов, то и это уже значительный шаг вперед. Человечность прольет в

жизнь бальзам умиротворения, сообщит ей смягчающие тоны, удалит трепеты и сделает ее способною развиваться.

Повторяю: я убежден, что честные люди не только пребудут честными, но и победят, и что на стороне человеконенавистничества останутся лишь люди, вконец раздавленные личными интересами. Я, впрочем, отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности личных интересов, но встречаются между ними столь низменные и даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно было бы примириться с ними. Вот эти-то подлые инстинкты и обладают человеконенавистниками.

Будьте же бодры, голубушка, и не смущайтесь духом при виде компарсов, проворно улетающих ввиду непредвиденных встреч. Но кстати: так как вы жалуетесь на вашего соседа Пафнутьева, который некогда вас либеральными записками донимал, а теперь поговаривает: "надо же, наконец, серьезно взглянуть в глаза опасности...", то, относительно этого человека, говорю вам прямо: опасайтесь его! ибо это совсем не компарс, а корифей. Давно уж он "сведущим человеком" смотрит, давно протягивает руку к трубе, и в настоящую минуту, быть может, уже подносит ее к губам, чтобы вострубить.

Вообще эти земские грамотеи глубоко мне не по душе. Орфографии не знают, о словосочинении – никогда не слыхивали, знаки препинания – ставят *ad libitum* ²², а непременно хотят либеральные мысли излагать. Да и мысли-то какие – по грошу пара! Когда-нибудь я подробнее с вами об этих корифеях поговорю, а теперь только повторяю: опасайтесь Пафнутьева, ибо у него в голове засело предательство. Это корифей, который только для прилику задумчивость на себя напускает, а в действительности он уж давно что следует разрешил, куда следует перебежал и теперь охорашивается. Таких людей нынче очень много развелось, и все они во что-то «серьезно вглядываются», в чаянии, что их куда-то призовут, хоть в переднюю посидеть. Но, право, мне кажется, что подождет-подождет ваш Пафнутьев, а его так-таки никуда и не призовут: пускай в Торопце изнывает! Тогда он и опять к вам с либеральной запиской приедет, – только уж вы, сделайте милость, прикажите его в ту пору в три шеи по лестнице гнать, потому что он, в противном случае, весь ваш дом запакостит. Уряднику, разумеется, об его вольнодумстве не доносите – это нехорошо, – а просто собственными средствами распорядитесь.

Помните ли вы тот вечер, когда Пафнутьев в нашем маленьком кружке (тут были: вы, я, маркиз Шассе-Краузе, Иванов, Федотов и в качестве депутата от крестьян ваш сельский староста Прохор Распротаков) прочитал свою первую либеральную записку: "Имея уши слышати да слышит"? Помните, как, по окончании чтения, вы отозвали меня в сторону и сказали: "ах, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!" А я на это (сознаюсь: я был груб и не деликатен) ответил: не понимаю, как это вы так легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто дрянцо с пылью. Ах, как вы тогда на меня рассердились! Назвали неверующим, бессердечным, *un homme qui ne comprend pas la poesie du coeur*... ²³

И я был глубоко несчастлив, слушая ваши укоры, до того несчастлив, что готов был просить у вас прощения и поцеловать Пафнутьева в уста... А теперь, что источают эти уста? Чей суд был правее: ваш или мой?

Нет, ради бога, не смешивайте вероломного корифейства Пафнутьевых с тою гнетущею подавленностью, которую вы, от времени до времени, замечаете в обществе! Примиритесь с последнею и опасайтесь первого.

²² где им заблагорассудится (*лат.*)

²³ человеком, который не понимает поэзии сердца (*франц.*)

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

А вот вам и еще оазис.

На днях стою у окна и вижу, что напротив, через улицу, в растворенном окне, вставши на подоконник и подоткнув платье, старушка перетирает стекла под зимние рамы. Беру бинокль, вглядываюсь и кого ж узнаю – Федосьюшку!

Помните ли вы Федосьюшку, которая при деденьке у вас в доме ключницей была? Еще странный такой случай с ней был: до сорока пяти лет, покуда крепостною была, ни на какие соблазны не сдавалась, слыла девицею, а как только крепостное право упразднили, так сейчас же забеременела? Помните, как покойный деденька стыдил ее, как ваш тогдашний батюшка, отец Яков, по просьбе деденьки, ее усовещивал: "ты думала любезно-верное ликование этим поступком изобразить, ан, вместо того, явила лишь легковерие и строптивость!" Зачем они ее стыдили и усовещивали – теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мне и самому казалось: ах, какую черную неблагодарность Федосьюшка выказала! Однако как ни стыдили Федосьюшку, а она взяла да и родила Домнушку. Теперь этой Домнушке невступно двадцать лет, только она уж не Домнушка, а Ератидушка и обладает очень серьезными женскими атурами, которыми распоряжается с большим тактом. Впрочем, не будем предупреждать события...

Понятно, что один вид Федосьюшки взбудоражил во мне все дорогие воспоминания прошлого. До такой степени взбудоражил, что я не воздержался и на всю улицу крикнул:

– Федосьюшка! ты?!

Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но когда увидела мои распростертые руки, то и сама умилилась душой. А через несколько минут мы уже беседовали, как старые приятели.

Тетенька! представьте себе, у Федосьюшки есть шляпка и ротонда! Шляпка, правда, не совсем модная, но года два тому назад и вы охотно надели бы такую. С красным пером. Ротонда тоже не раз в чистке бывала, однако и теперь хоть статской советнице надеть не стыдно. Дома она ходит в чепце с оборками и в люстриновой блузе (исключая, однако ж, те случаи, когда моет окошки), но, идя ко мне, приоделась, надела шелковый капот масака и, кажется, даже подмостила под него крахмальную юбку. Словом, старушка – хоть сейчас к любому столончальнику в посаженные матери.

– Да какая же ты франтиха, Федосьюшка! – изумился я.

– А это меня дочка награждает, – отвечала она, – поносит-поносит, а потом мне отдаст. Кое я продам, а кое – перешью и донашиваю.

Стали мы с ней о прошлых временах вспоминать: оказывается, что она благодарная. О крепостном праве вспоминает с удовольствием, говорит, что только тогда и был настоящий страх божий. И об вас вспомнила и много расспрашивала: помните, говорит, вы с барышней соловьев в рощу слушать ходили? Призналась, что в повара Тимофея двадцать лет сряду была влюблена, но все не смела, а когда волю объявили, тогда осмелилась. Что, впрочем, совсем это не было с ее стороны строптивостью или желанием показать, что вот она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь... А Тимофеем, поживши на воле, сначала "ослаб", потом ослеп, а теперь поступил в богадельню. И она к нему раза два в месяц ходит, когда целковый, когда два снесет, да чайку, да сахарку: все же не чужие были!

– У кого же ты теперь живешь, Федосьюшка? – спросил я.

– А тут у дочки, насупротив вас, в квартире и живу. Да меня, признаться, Федосей-то нынче уж не зовут, а Катериной, да еще Карловной. Да и Катериной-то зваться не велят, а Екатериной. И дочку из Домны в Ератиду переделали.

– Кто же это вас так окрестил?

– Все кавалеры наши... Ератидушка-то сразу к новому имени привыкла, а я долго-то так путалась. Пуще всего – анделов прежних жалко; я своему-то анделу двадцать девятого мая прежде праздновала, а нынче двадцать четвертого ноября праздновать велят.

– Господи! так, стало-быть, Домнушка-то...

– Что уж! шила в мешке, видно, не утаишь! В какетках, сударь, она. Так и в участке прописана.

– Кокотка то есть?

– Какотка ли, какетка ли... кто их там разберет! А впрочем, ничего, живем хорошо: за квартиру две тысячи в год платим, пару лошадей держим... Только притесняют уж очень это самое звание. С других за эту самую квартиру положение полторы тысячи, а с нас – две; с других за пару-то лошадей сто рублей в месяц берут, а с нас – полтора. Вот Ератидушка-то и старается.

– Да каким же образом она на эту дорогу попала?

– А как попала?... жила я в ту пору у купца у древнего в кухарках, а Домнушке шестнадцатый годок пошел. Только стал это старик на нее поглядывать, зазовет к себе в комнату да все рукой гладит. Смотрела я, смотрела и говорю: ну говорю, Домашка, ежели да ты... А она мне: неужто ж я, маменька, себя не понимаю? И точно, сударь! прошло ли с месяц времени, как уж она это сделала, только он ей разом десять тысяч отвалил. Ну, мы сейчас от него и отошли.

– Ах! как же это вы так! – огорчился я за старика.

– Ну, что его жалеть! Пожил-таки в свое удовольствие, старости лет сподобился – чего ему, псу, еще надо? Лежи да полеживай, а то на-тко что вздумал! Ну, хорошо; получили мы этта деньги, и так мне захотелось опять в Ворошилово, так захотелось! так захотелось! Только об одном и думаю: попрошу у барыни полдесятинки за старую услугу отрезать, выстрою питейный да лавочку и стану помаленьку торговать. Так что ж бы вы думали, Ератидушка-то моя? – зажала деньги в руку и не отдает!

Федосьюшка закручинилась и уронила слезу. Я хотел было эту слезу залучить в пузырек, чтобы потом подвергнуть ее химическому разложению и определить, сколько в ней частиц семейного союза содержится и сколько других примесей, но, к сожалению, она торопливо отверла глаза и продолжала свое повествование.

Оказывается, что ведь Домнушка-то – умница! Несмотря на свои шестнадцать лет, она сейчас же поняла, что до поры до времени ей незачем в деревню ехать.

Получивши от старика-купца десять тысяч, она рассудила, что это только начало и что в будущем ее молодость и красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей денег, но в короткое время рассорила их, по-видимому, самым непроизводительным образом. Наняла француженку, танцмейстера, учительницу музыки и целых полгода себя "обнатуривала", так что теперь и канкан может станцевать и на фортепианах побренчать, и "La chose" пропеть. Зато во всем прочем выказала бережливость самую рассудительную. "Бывало (сказывала мне Федосьюшка), извозчик двугривенный просит, так она ему никогда больше пятиалтынного не даст". И когда почувствовала, что совсем готова, то начала похаживать по гостинному двору.

Это был решительный шаг, которым она еще раз доказала, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя у купцов шпор нет, но зато у них есть лавки и в них всякий товар. Стало быть, деньги деньгами, а материи, вещи и бакалея – само собой. И точно: скоро ей и опять хороший случай вышел. Купец, да на этот раз уж молодой, встретился с ней на Крестовском и сразу понял, что она умница. И что ж бы вы думали, тетенька! другая, на ее месте, непременно продешевила бы (прежние-то деньги под исход уж шли), а она выдержала себя: дай, говорит, десять тысяч! Привезли они с мамашей этого купца к себе на квартиру и напоили его пьяного... И, должно быть у купца легкая рука была, потому что с тех пор Домнушке так и повалило. Дальше да больше, так что теперь меньше как с "сотельной" и не приставай к ней.

Купцам она, во-первых, потому нравится, что хоть она и русская, а по-французскому так и "ржот"; во-вторых, потому, что она из их сословия не выходит, а в-третьих, потому, что уж очень чисто себя держит. Федосьюшка сначала была того мнения, что для гостиного двора чистота – пустое дело, но теперь и она убедилась, что купцы чистоту понимать могут. Одним словом, Домнушке нет отбоя от гостинодворских Меркуриев. По вечерам у нее, часов с девяти, почти всегда компания: пьют, в тринку играют, песни поют. Однако дебоширства или политических разговоров, а тем паче превратных толкований, Домнушка не допускает: сиди смирно, благородно, а не то и дворника велит мамаше познать.

И всегда она считается в части с тем, кто в тринку выигрывает, А в час, или много в половине второго ночи, уж ни одного огня в квартире не видно. Так что и соседи, видя, как Ератидушка солидно ведет себя, не нарадуются на нее.

В настоящее время мать и дочь живут душа в душу. Сначала Федосьюшка обижалась тем, что Домнушка не дает ей капиталом распоряжаться, но теперь поняла, что она умница. От времени до времени, впрочем, она получает от дочери то два, то три рубля и вот из этих-то денег побаловывает Тимофея. Одно время старушка домогалась, чтобы ей предоставлен был доход с карт, но Домнушка и тут очень рассудительно отказала ей, сказав, что доход этот должны делить между собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. Зато прислуга обожает ее. Да и как не обожать! ведь, сверх карт, купцы, как подопьют, немало и на пол денег роняют – и это тоже прислуге достается. Словом сказать, в самое короткое время даже прислуга в такое блестящее положение пришла, что хоть сейчас кабак открывай!

Но, по-моему, главная заслуга Домнушки все-таки в том состоит, что она гостиному двору не изменяет. Согласитесь сами: ей всего двадцать лет, кругом усы, на каждом шагу палаши, шпоры – долго ли до греха! Были такие, которые и подсылали, а она подумает, подумает: "нет, скажет, коли уж на какую линию попала, так и надо на этой точке вертеться!" Федосьюшка сказывала мне, что она и к тому купцу с повинною ездила, который ей первые десять тысяч подарил. Ничего, принял радушно, увел в кабинет, погладил и сказал: я и сам на твоём месте так же бы поступил. С тех пор она к нему во все большие праздники ездит, и он всякий раз ей две сотенных подарит. Но вот что удивительно: сам-то он уж нынче ногами не владеет, а возит его в коляске по комнатам девица Агриппина, так даже эта Агриппина к Домнушке никакой зависти не чувствует. Совсем напротив, от времени до времени даже посещает ее и заимствуется от нее обращением. Вот как умеет Домнушка всех в свою пользу расположить!

Одно только горе у нее: до сих пор ни одного жида не успела к себе залучить. Но грек уже есть. Такой грек, который, по словам Федосьюшки, торгует орехами, да всё грецкими. И ей, старушке, по фунту и по два дарит.

Сколько успела Домнушка денег в течение пяти лет накопить – этого Федосьюшка доподлинно не знает. Но знает верно, что "умница" отнюдь не намерена бессечно в "какотках" оставаться: еще годиков пять – и будет. Тогда она выйдет замуж за статского советника (даже и подыскала уж такого!), опять назовется Домной (болярыня Домна Тимофеевна – право, это звучит хоть куда!), и купит имение. Статского советника и теперь все в доме принимают, как родного, кормят пирогами и изредка позволяют посмотреть в замочную скважину, как Домнушка одевается. Но в свои комнаты "умница" допускает его редко и то когда нет гостей; в прочее же время предоставляет его в распоряжение мамашы, которая уводит его в свою комнату, и там они вчетвером, с горничной и кухаркой, дуются в свои козыри.

Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущает Домнушку? – Это мысль – во что бы то ни стало приобрести у вас Ворошилово. Разумеется, тогда, когда уж она будет статской советницей и болярыней. Хоть она была вывезена из Ворошилова пятилетком, так что едва ли даже помнит его, но Федосьюшка так много натвердила ей о тамошних "чудесах", что она и спит и видит поселиться там.

– Еще годков пять помыкаемся, – говорила мне Федосьюшка, – да выдем замуж за Ивана Родивоныча, а там и укатим в свое место. Беспременно она у барыни всю усадьбу откупит. Уж ты сделай милость, голубчик, напиши тетеньке-то, чтоб она годков пять покрепилась, не продавала. Слышали мы, что она с Финагеичем позапуталась, так мы и теперь можем сколько-нибудь денег за процент дать, чтобы ее вызволить. А через пять лет и остатние отдадим – ступай на все четыре стороны!

– Да ведь доходы-то с Ворошилова... – сболтнул было я, но, к счастью, она сама меня прервала.

– И насчет доходу не сумлевайся, – сказала она, – это у тетеньки оно доходу не дает, а у нас – будет давать. Мы ведь по-другому хозяйство-то поведем, мы мужичка-то кругом окружим. Поцарствовали при тетеньке – и будет с них. И Финагеича сократим – будь спокоен! А то закопался там, старый пес, думает, что и управы на него нет. Да вот еще, милый барин, вы тетеньке что напишите: чтоб рощицу-то, которая против усадьбы, она поберегла. Уж такая эта веселая рощица! Березки всё да дубки, а грибов сколько – страсть! Вот и будет по ней Ератидушка с Иваном Родивонычем под ручку гулять!

И, помолчав с минуту, прибавила:

– А главная причина: храм божий в Ворошилове очень хорош! уж так-то хорош, ах, как хорош!

Я дословно передаю вам Федосьюшкину просьбу, милая тетенька, так как, по мнению моему, она заслуживает серьезного с вашей стороны внимания. Если нет у вас крайности, то действительно потерпите с Ворошиловым: Домнушка со временем хорошие деньги вам за него даст. Конечно, только контора Юнкера знает положительно, сколько у "умницы" денег, а я могу лишь предположенья на этот счет делать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней быть и именно в том самом месте, которое ее мать видела в рабском состоянии. Уж и теперь она задумывается, как бы новый колокол для ворошиловского храма отлить, но куда еще сомневается, будет ли ее жертва угодна. Но когда она сделается статской советницей, тогда, наверное, жертва ее будет угодна. Притом же, у ней и план действий давно готов. Как только *засядет* она в Ворошилове, сейчас же откроет свой кабак, а при нем белую харчевню и лавку. Финагеича вытеснит, так что мужички будут уж на нее одну работать. А статский советник будет на работы выходить и мужичков понуждать. Словом сказать, такую буколику заведут, какая и Виргилию не снилась. Те поля, которые у вас остаются невозделанными и на которых *ничего* не растет, будут у ней и возделаны, и выхолены, и станут на них всякие злаки дыбом расти. И все эти результаты будут достигнуты ею за ничто: где за стакан водки, а где и просто: а нуте-ка, девушки, приходите ко мне гуляючи на денек пожать! Во всяком случае, повторяю: помимо того, что всякому приятно в родном месте пышным цветом расцвести, для нее и расчет купить Ворошилово; Федосьюшка будет тут ей действительно помощницей, потому что она всякую ворошиловскую былинку знает. Но, с другой стороны, имеются и слабые стороны у этих предположений. Пять лет – много, а тем временем Финагеич, пожалуй, успеет у вас всю округу высосать. А Домнушка на этот счет прозорлива: заметит, что ворошиловский мужичок на ладан дышит, – возьмет да и купит усадьбу у Пафнутьева, а к вам будет только к обедне ездить да колокола лить. Так вы уж за Финагеичем-то присмотрите да и коров-то своих, за год времени, подкормите – будто как настоящие коровы на скотном стоят. А вы еще пишете: Финагеич, за старые услуги, просит ему десятинку сзади парка, против деревни, отрезать... И не думайте! он вас этой десятинкой так поработит, а ежели вы чуть противное слово скажете, так вас по судам из-за нее водить начнет, что рады-радехоньки будете, ежели вас только в места не столь отдаленные ушлют! А вы лучше вот что сделайте: «книжку», на которую вы у Финагеича домашний припас забираете, сочтите и уведомьте меня, сколько в итоге окажется. Я и у Домнушки занимать не буду (воображаю, какой она процент возьмет!), а просто разыграю в вашу пользу лотерею.

Как бы то ни было, у вас теперь два покупателя в перспективе: Финагеич и Домнушка. Что касается до меня, то я положительно на стороне Домнушки. Подумайте! чего один этот срам стоит: за долг по Финагеичевой "книжке" (добро бы "по счету" мадам Изомбар!) отчину и дедину потерять!

Возобновивши знакомство с Федосьюшкой, я начал наблюдать за Домнушкиной квартирой, и могу только повторить: умница! умница! умница!

Каждое утро, в девять часов, стора в одном из окон ее спальни поднимается, и я вижу иногда брюнета, иногда блондина, но большею частью кавалера с проседью, который охорашивается перед трюмо и у которого на лице написано: в гостиный двор тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли он – сказать не могу, но думаю, что ежели и умывается, то в лавке; но если и позабудет умыться, то никто на нем не взыщет. В одиннадцать часов поднимаются сторы и в других двух окнах, и у среднего, перед туалетом, появляется сама Домнушка, в кофте, порядочно растрепанная, с косичкой ("коса", покуда, покоится в картонке), болтающейся на плече. Лицо у нее утомлено; несколько минут она потягивается и зевает (и непременно крестит рот при этом), и изредка заглядывает под кофту, все ли там благополучно. Потом подходит к другому окну, около которого стоит шкаф, и вынимает вчерашнюю выручку. Сотенные бумажки (одну, но иногда и больше) присоединяет к сотенным, десятирублевые к десятирублевым и т. д. Но если накануне купцы в трынку играли, то попадают и рублевые. Затем, приведя в порядок финансы, зашелкнув пачки в каучуковые кружки и записав на бумажке итог, она на целый час исчезает. В это время она пьет кофе, смывает с лица вчерашние поцелуи и делает распоряжения по содержанию себя в чистоте, так чтобы в течение дня уже не возвращаться к этому предмету.

Спальная у нее не роскошно, но очень прилично убрана палевым кретоном. Через четверть часа является горничная и прежде всего собирает разбросанные по стульям и креслам принадлежности женского туалета. Потом начинает убирать постель, меняет белье ("прачка каторжная одна чего стоит!" жаловалась мне Федосьюшка), и если заметит след какого-нибудь насекомого, то слегка посыпает матрац персидским порошком. Около половины первого Домнушка опять появляется и начинает отделявать себе голову и лицо. До двух часов она не отходит от туалета, то присядет, то привстанет, то отойдет подальше, то чуть не к самому стеклу зеркала лицом прильнет. В два часа лицо готово, и она подходит к окну – ну, точно сейчас распустившаяся роза, sprysnutая росой! Ахайте, купцы!

С двух до трех – одеванье. Домнушка стоит перед трюмо и, выгнув голову, смотрится разом и в трюмо, и в туалетное зеркало, которое отражает ее атуры. Надевши корсет и обнаживши выхолненные плечи, она долгое время принимает самые разнообразные позы. То поднимет руки вверх, то опустит их, то перегнет стан на правый бок, то на левый, то вдруг быстро перевернется, как будто хочет сказать: а вот не поймашь! И все это ради гостиного двора! И во все время продолжается отделка лица, хотя я должен сознаться, что отделка эта большею частью в том состоит, что Домнушка помуслит пальчик и в одном месте притрет, а в другом – наведет. Не мастер я эволюции-то эти описывать, да многого и не знаю, а можно бы целую книжку написать, и очень была бы в наше время эта книжка полезна, чтоб от превратных толкований отдохнуть. В начале четвертого Домнушка окончательно готова; она опять подходит к денежному шкапу, забирает деньги и исчезает из спальни. У подъезда ее ждет коляска, запряженная парой добрых лошадей, и она, закутанная в соболя, отправляется кататься. Но прежде всего едет к Юнкеру и на вчерашнюю выручку покупает "верные" бумаги, потому что не хочет потерять ни одного дня процентов.

С шести часов сторы в спальне опускаются. Вероятно, в это время Домнушка, снявши корсет, обедает с мамашей, отдыхает и переодевается к вечеру. В девятом часу в гостиной собираются купцы. Организуется тринка или стуколка, ведется оживленный разговор, но, повторяю, политический элемент, даже в виде простых новостей, устранин раз навсегда. Вместо него

введен элемент закусочный, так как с десяти часов на одном из столов появляются разнообразнейших сортов водки и бакалея. Иногда закуска бывает попроще, но иногда – очень богатая, смотря по тому, имеются ли в числе гостей бакалейщики и погребщики. Нужно, однако ж, сказать, что ежели и есть налицо бакалейщики, то Домнушка не всю привезенную ими бакалею ставит на стол, а половину откладывает. Так что ежели бы на другой день и ни один бакалейщик не пришел, то закуска все-таки подается приличная. Но зато случается, что всякий день целую неделю все бакалейщики ходят – тогда происходит избыток. Остатки относятся к статскому советнику, который небольшую часть сам съедает, а большинство продает в мелочную лавочку и из вырученных денег, с своей стороны, составляет капитал.

Однажды только я видел в окно, как чуть было не затеялась драка между купцами. Задрал, конечно, грек, который стал доказывать, что настоящая вера от греков пошла; а один из купцов вломился в амбицию и ответил, что спервоначалу, действительно, так было, но что истинный свет все-таки с Москвы воссиял. И вдруг, не успел грек и рта разинуть, как в одну секунду на обе щеки по плюхе получил. Однако Домнушка и тут нашлась. Потушила лампы и свечи и пригрозила послать за городовым. Купцы, разумеется, присмирели, а так как трывка была в самом разгаре и на столе было много денег, которые, во время смятения, перемешались, то общим советом было положено: отдать эти деньги Ератидушке. А она на другой день на них целую уйму облигаций от Юнкера привезла.

Во втором часу все кончается. Ужина не полагается, потому что купцы, и в течение вообще всей своей жизни, только закусывают, а настоящим образом есть не умеют. Огни во всех окнах потушены, и в квартире водворяется тишина. Кто-то гостит теперь там, за этими спущенными сторами: блондин или брюнет?

* * *

Вот, стало быть, целых два оазиса. И много таких я мог бы вам описать, но для этого надо целую бесконечную серию писем. Ведь только слава, будто весь Петербург превратными толкователями начинен, а, в сущности, превратных толкователей только с горсточку, а все остальное – оазисы. Говорят, будто бы либералов много развелось – вот это, пожалуй, правда; но ведь и либерал тот же оазис, ибо и он от пирога с капустой не прочь – ну, и Христос с ним, пускай кушает! Я полагаю, что со временем и все́ одни оазисы будут, только, как я уже прежде сказал, торопиться не надо. Принудительные меры никогда вожделенных результатов не приносили, а вот ежели пара рябчиков, вместо рубля, будет тридцать копеек стоить, да поросенок до пятидесяти копеек в цене упадет – вот это настоящее дело будет! Тогда и либералы не устоят против очевидности. И все в один голос возопиют: посмотрите, какие результаты!

К сожалению, однако ж, я должен сознаться, что принудительные взгляды у нас и до сих пор в большом ходу в той кочующей части нашего общества, которая наполняет улицы и публичные места Петербурга. Только и слышишь кругом: в ежовых рукавицах держать надо, в бараний рог надо согнуть! Чудаки, право! не понимают, что если и могут быть результаты от ежовых рукавиц, то тех же самых результатов гораздо приятнее простою сытостью достигнуть можно! Да и как возможно не только целое общество, но даже отдельного человека в бараний рог согнуть? и про какие такие ежовые рукавицы идет речь? где они? откуда их взять? Словом сказать, явно пустое болтают, а проходящие между тем слушают, и мороз их по коже подирает.

Однако ж представьте себе такое положение: человек с малолетства привык думать, что главная цель общества – развитие и самосовершенствование, и вдруг кругом него точно сбесились все, только о бараньем роге и толкуют! Ведь это даже подло. Возражают на это: вам-то какое дело? Вы идите своей дорогой, коли не чувствуете за собой вины! Как какое дело? да ведь мой слух посрамляется! Ведь мозги мои страдают от этих пакостных слов! да и учителя в "казенном заведении" недаром же заставляли меня твердить:

Будь, человек, благороден!
Будь сострадателен, добр!

А вы спрашиваете: какое дело? Да опять и насчет вины. Почем я знаю, что вы разумеете под виною? Например, ежели я ничего не похитил из казенного пирога – по-моему, это хорошо, а по-вашему, может быть, это-то именно и есть «вина»? Или, например, я верю в добрую природу человека, по-моему – это хорошо, а по-вашему – это «вина», истинная же заслуга заключается в человеконенавистничестве... Ведь вы на этот счет молодцы: перекрестите лоб, да и думаете, что после этого можете свободно и клеветать, и красть, и убивать!

Но все это еще только полбеда: пускай горланы лают! Главная же беда в том, что доктрина ежовых рукавиц ищет утвердить себя при помощи не одного лая, но и при помощи утруждения начальства. Утруждение начальства – вот язва, которая точит современную действительность и которая не только временно вносит элемент натянутости и недоверия во взаимные отношения людей, но и может сделать последних неспособными к общежитию.

Я недостаточно подробно знаком с памятниками нашей старины, но очень хорошо помню, как покойный папенька говаривал, что в его время было в ходу правило: доносчику – первый кнут. Знаю также, что и в позднейшее время существовал закон, по которому лицо, утруждавшее начальство по первым двум пунктам, прежде всего сажали в тюрьму и держали там до тех пор, пока оно не представит ясных доказательств, что написанное в его доносе есть факт действительный, а не плод злопыхательной фантазии.

По моему мнению, это были правила поистине человеколюбивые, и не потому только, что они ограждали честных людей от подыскиваний своекорыстной ябеды, но и потому, что они воспитывали в обществе чувство гадливости к промышленникам доноса. Я помню, как утруждатели, застигнутые страхом тюрьмы, извивались, доказывая, что их доносы не суть доносы, но извещения, и как, по большей части, усилия их в этом смысле оставались просвещенным начальством без последствий. Я помню, с какою брезгливою чуткостью самое общество относилось к "шептунам". Прежде всего, никто не верил их искренности даже в том случае, когда они доказывали, что за их услугами скрывается очень хорошая специальность: утирать слезы. По-видимому, что может быть приятнее: утирать слезы! – однако ж общество и на это занятие смотрело подозрительно и, во всяком случае, считало уместным присовокуплять: но не утруждая начальства! Одним словом, шептуны чувствовали себя настолько нехорошо, что отдавались этому ремеслу, по большей части, по легкомыслию или недоразумению. Если же впоследствии и упорствовали в нем, то лишь потому, что над ними уж тяготел фатум.

Шептунов из молодых людей почти совсем не было. В основе этого ремесла слишком ясно слышится нота вероломства и измены, чтобы живость и чуткость молодого чувства могли примириться с ним. Мало было и стариков: совершив все земное и до известной степени выжив из ума, старцы удалялись на покой, замаливали старые грехи и посвящали остаток дней своим писанию мемуаров. Главный контингент утруждателей составляли личности средних лет, побитые и помятые, вроде Расплюева и Загорецкого, или блестящие, но несомненно прогоревшие, вроде Кречинского. Некоторые из последних, несмотря на внешний блеск, были общеизвестны, и на них указывали пальцами, но некоторые настолько искусно умели маскировать себя, что так и умерли неузнанными. Только впоследствии мемуары словоохотливых старичков восстановили этих "неузнанных" в надлежащем свете. Однако ж, во всяком случае, самая необходимость носить маску и скрывать свои действия доказывала, что ремесло утруждателя не считалось ни полезным, ни безопасным.

Ныне, по-видимому, эти отличнейшие традиции приходят в забвение. Подавляющие события последнего времени вконец извратили смысл русской жизни, осудив на бессилие развитую часть общества и развязав руки и языки рыболовам мутной воды. Я, впрочем, далек от

мысли утверждать, что в этом изменении жизненного русла участвовало какое-нибудь насилие, но что оно существует – в этом, кажется, никто не сомневается. Вероятнее всего, оно совершилось само собой, силою обстоятельств.

Я не говорю также, что известительная практика преуспевает, я говорю только, что она начинает входить в нравы. Но, по моему мнению, в этом-то и заключается главное зло, так что гораздо было бы лучше, если б эта практика преуспевала в виде особой статьи, нежели вторгалась в жизнь, в качестве одного из ее составных элементов. Появляться в обществе людей становится делом трудным и рискованным, ибо нетерпимость и желание зажать противнику рот достигли до высшей степени. И то, что вследствие этого происходит, не может даже назваться доносом в том смысле, в каком мы, люди отживающие, привыкли понимать это слово; нет, это не донос, но прямое приглашение к составлению протокола, с препровождением в участок на зависящее распоряжение. Допустим, что в участке разберут и отпустят, но как бы удивились мы в оные дни, если б нам сказали, что наступит время, когда участок (по-прежнему квартал, или съезжая) сделается посредником в разрешении споров и недоумений по жизненным вопросам?

В особенности прискорбно смотреть на молодых людей: они совсем нынче отучились краснеть и потуплять глаза. Едва соскочив с школьной скамьи, юноша уже ни о чем другом не помышляет, кроме карьеры, и даже с дамочками устраивается мимоходом и как-то наскоро. Несколько чересчур быстро сделанных карьер вскружили головы и смутили молодые сердца. Каким образом достигнуть того, чего так легко достиг, например, N? Понятно, что действия скромные, сопряженные с трудом, не могут в этом случае представляться ни достаточно блестящими, ни достаточно доказательными. Мало того: эти действия почти подозрительны, потому что нынче, милая тетенька, даже в воздержании от рыкания уже усматривается что-то похожее на укрывательство. Стало быть, нужно рыкать. А еще будет целесообразнее, ежели прямо закричать: караул! – тогда уж дорога откроется сама собою. Вот они и рыкают, и караул кричат, не задавая даже себе вопроса: а дальше что?

Ах, да и дамочки нынче какие-то кровопийственные стали. Нагуливают себе атуры, потрясают бедрами – и, представьте, всё с целями внутренней политики! Прежде, бывало, придет краснощекий Амалат-бек, наговорит с три короба *des jolis riens*²⁴ и вдруг... А теперь дамочка Амалат-беку своему прежде всего говорит: сначала проливай кровь, а потом посмотри... Право, мне кажется, что прежде лучше было.

И старики не отстают от молодых, но, конечно, по немощам своим они больше проекты по части оздоровления корней строчат, да кстати уж и иллюстрации к этим проектам присовокупляют. Иной даже об смерти позабыл, думает: поживу еще. А спросите-ка его, зачем ему жить понадобилось, так он, пожалуй, рассердится.

Что же касается до Расплюевых и Загорецких, то ими ныне все трактиры полны. Пьют очищенную, клапшотсы делают и кричат "караул"...

До того дошло, что даже от серьезных людей случается такие отзывы слышать: мерзавец, но на правильной стезе стоит. Удивляюсь, как может это быть, чтоб мерзавец стоял на правильной стезе. Мерзавец – на всякой стезе мерзавец, и в былое время едва ли кому-нибудь даже могло в голову прийти сочинить притчу о мерзавце, на доброй стезе стоящем. Но, повторяю: подавляющие обстоятельства в такой степени извратили все понятия, что никакие парадоксы и притчи уже не кажутся нам удивительными.

Простите, милая тетенька, что письмо мое вышло несколько пестро: жизнь у нас нынче какая-то пестрая завелась, а это и на течение мыслей влияние имеет. Живется-то, положим, даже очень хорошо, да вдруг сквозь это хорошее житье что-то сомнительное проскочит – ну, и задумаешься. И делается сначала грустно, а потом опять весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходить в отчаяние все-таки не следует, покуда на конце стоит: весело.

²⁴ приятных пустяков (*франц.*)

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Милая тетенька.

Вы пишете: "а Пафнютьев из Петербурга воротился, да странный какой-то; приехал с визитом в Ворошилове во фраке, в белом галстухе, в круглой шляпе"... Ах, голубушка! да неужто ж вы не догадываетесь, что это он к вам прямо, как был в Петербурге в передней, так и явился!

Пафнютьев – земская косточка, а нынче правило: во все передние Пафнютьевых допускать. Представятся швейцару, расчеркнутся, шаркнут ножкой – и по домам. Видел? – ну, и будет с тебя. Ступай в деревню, разъезжай по соседям, хвастайся, а начальства не утруждай!

Я ничего не читал в газетах о подвигах *вашего* Пафнютьева, но слышал, что он был в Петербурге и нюхал. Сначала находил, что пахнет амбре, потом, по мере того как надежды на «проникновение» померкали, стал относиться к запахам с притворным равнодушием и, наконец, пустился в почтительное сквернословие. И так как Петербург нынче переполнен Пафнютьевыми, которые все приехали понюхать, чем пахнет, то у всех у них *ваши* Пафнютьев был с визитом и всем говорил, что надобно «взглянуть на положение вещей серьезно», и прежде всего начать с оздоровления корней.

Или точнее: с оздоровления самого же Пафнютьева, потому что корни – земство, а Пафнютьев – излюбленный земский человек. Вот какая иногда выходит игра слов!

Знаю также, что, "отъявившись" где следует, он засел у себя в номере и стал "ждать". Ждал неделю, ждал другую, и, наконец, так ему захотелось у Палкина в трактире машину послушать, что он не выдержал и отлучился. А в это время, как на грех, кто-то *за ним приходил* и, узнав, что его дома нет, сказал: а в нем между тем есть настоятельная надобность. Затем, как ни добивался Пафнютьев, кто приходил, какого вида и роста, военный или статский, в одежде или без таковой, молодой или старик, – так ничего и не добился. «Он» же, с своей стороны, хотя и обещал опять прийти, но не пришел. А между тем, тетенька, ведь и серьезно могло так случиться, что было где-нибудь заседание, и вдруг некто вспомнил: отчего же Пафнютьева между нами нет? Туда-сюда. Послали звать, а его дома не оказалось, швейцар же говорит: к Палкину машину слушать ушли... Посмеялись, пожалели, а к следующему заседанию и аппетит к Пафнютьеву прошел. Пафнютьев! кто бишь это такой! Ба! да это не тот ли, который машину у Палкина слушает? – ну, и пускай слушает! Подумайте, милая, срам-то какой! Добро бы в Публичную библиотеку или в Академию наук, а то к Палкину *машину слушать* затесался!!!

Так он свое счастье и прозевал.

Прозевавши счастье, пустился во все тяжкие. Сперва начал по Милютиным лавкам ходить. Купит фунт изюму, а сам стоит и присматривается: кто бишь этот солидный мужчина, который указательным пальцем во всякой рыбине поковырял, понюхал, полизал и ничего не купил? А ну, как он к нему обернется: а! *господин* Пафнютьев! аншанте! вас-то нам и надо!.. Потом стал француженкам-кокоткам свой фотографический портрет рассылать: приедет, мол, ужо милый дружок, увидит, что на столе чья-то морда валяется... «Ба! да ведь это Пафнютьев! его-то нам и надо!» Потом начал по Невскому по ночам шататься, думал: наткнусь на скандал, свидетелем буду... А на другой день в газетах напечатают: случился скандал, при котором с особенно благородной стороны выказал себя свидетель Пафнютьев. А известие это кто следует прочтет и скажет: ба! да не тот ли это Пафнютьев, от которого особливой, по настоящим обстоятельствам, пользы ожидать надлежит?.. Словом сказать, все средства, и дозволенные и предосудительные, пускал в ход. Наконец, видит, что ничего не берет, взял да от нечего делать и заложил свое торопецкое имение в Обществе взаимного поземельного кредита.

И что ж бы вы думали, даже после этого не только не угомонился, но еще пуще прежнего духом возгорел.

Ему бы следовало сходить в баню и уехать в Торопец, а он, вместо того, вновь объехал всех земцев-нюхателей и уговорил их собраться у Палкина за общей трапезой для обмена мыслей. Протест, что ли, он затевал или прямо бунт – этого вам сказать не умею, но только не успели сотрапезники по первой мысли обменять, как их тут же, голубчиков, и накрыли. И что же потом оказалось? – что накрыли-то не настоящие накрыватели, а шутники из "Союза Недремлющих Лоботрясов", которые ехали по дороге в трактир "Самарканд" да и надумали: пугнем-ка, мол, Пафнутьевых! И пугнули. Только остальные-то Пафнутьевы разбежались, а наш между стульев запутался. Накрыватели же, сказав ему: счастлив твой бог! – простили и уехали. Но Палкин не простил и представил счет. И вынужден был Пафнутьев по этому счету сполна заплатить, потому что, в противном случае, Палкин-трактир угрожал обвинить его в "превратном толковании". На эту уплату ушла половина полученных облигаций, а другую половину он по дороге из Средней Мещанской в Фонарный переулок обронил (даже околоточный по этому случаю сказал ему: стыдитесь, сударь!).

Вот вам и вся эпопея пафнутьевского пребывания в Петербурге. Рассказал мне ее один из недонюхавшихся нюхателей, который и в палкинском бунтовстве запевалой был, но успел счастливо ускользнуть, да вдобавок еще и ложку, впопыхах, в карман запрятал.

– Да вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутьеву! – уговаривал я его.

– И то надо заплатить...

Однако ж впоследствии я узнал, что он так, не заплативши, и уехал в Чебоксары. И ложку с собой увез, хотя рукоятка у нее была порыжелая, а в углублении самой ложки присохли неотмываемые следы яичных желтков. Вероятно, в Чебоксарах попу в храмовые праздники эту ложку будут подавать!

Что-то теперь будет Пафнутьев у вас, в Торопце, говорить! То-то, чай, станет хвастаться и лгать! Поэтому, на всякий случай, предупреждаю вас: что бы он ни рассказывал, ни одному его слову не верьте. Так-то спокойнее. Когда вперед знаешь, что человек врёт, то слушать его иногда забавно, иногда скучно бывает, смотря по тому, кто и как врёт; но когда человек врёт, а собеседник его думает, что он правду говорит, тогда можно с ума сойти. Одному только верьте: что Пафнутьев свою Обираловку заложил и что в следующем году ему процентов нечем будет платить. Однако вы ему тогда денег взаймы не предлагайте, потому что он взять возьмет, а отдать не отдаст. А впрочем, что же я об этом хлопочу! ведь у вас и у самих денег-то нет!

Ах, тетенька, тетенька! как это мы так живем! И земли у нас довольно, и под землей неведомо что лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и воды, а в водах рыбы – и все-таки нам нечего есть! А ведь и звери и рыбы – все это для того именно и создано, чтобы человека питать. Оглянитесь кругом – везде питание, да только до наших ртов оно почему-то не доходит, а другим мы сами давать не хотим. Сторожей держим, жалованье платим... Вот хоть бы голуби – сколько у вас их на мельницу летает! В Париже давно бы их заарестовали, откормили, на весь бы город соте из них понаделали! А у вас они так зря тощие летают. Поклюют-поклюют да в свое место и улетят. Но ведь их и тощих можно кушать. Я помню, однажды мне охотник голубя принес: витютень, говорит. Вижу, что голубь, однако ж перекрестился и съел за витютня. Тошёнек, а ничего. А вы к Финагеичу обращаетесь: привези, голубчик, из городу говядинки, да вермишельцу, да селедочек, а курочка, мол, у нас своя есть. А какая же это курочка! Ей бы за искусство добывать пропитание, наравне с мужичком, премию нужно назначить, а мы ее в суп волокем!

Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси в пруде? Правда, что по части невода у вас слабо: старый сопрел, а новым не разжились, так попросите Афимьюшку – она и в подол наловит.

Вот от этой-то голодухи и земцы из своих нор в Петербург напозаюют. Был у нас когда-то мужик, так на этом мужике нынче Колупаев с Разуваемым поехали; была ссуда, были облигации, а куда они подевались, и ума не приложишь; наконец, осталась земля, а ее не угрызешь. О, горе нам, рожденным в свет!

* * *

Вообще, что касается земства, я, пародируя стих Лермонтова, могу сказать: люблю я *земщину*, но странною любовью. Или, говоря прямее: вижу в земском человеке нечто двойственное. По наружному осмотру и по первоначальным диалогам каждый из них – парень хоть куда, а как заглянешь к нему в душу (это и не особенно трудно: стоит только на диалоги не скупиться) – ан там *крепостное право* засело.

Возьмем хоть мой родной уезд: там с самого начала и до настоящей минуты представителями земства бессменно служат: двое Дракиных, да двое Хлобыстовских, да аптекарь Карл Иваныч, да крестьянин Огрызковской волости Матвей Григорьев, которого по фамилии, из учтивости, называют Вздошниковым. Из них только Вздошников сыт, да и то потому, что способен пустыми щами насыщаться. Дракины голодны, Хлобыстовские голодны, Карл Иваныч – девичью кожу ест. Жалованье им идет хотя изрядное, но для наполнения дворянских желудков все-таки недостаточное, а у Карла Иваныча четырнадцать человек детей, и всех их надо к аптекарской должности подкормить. Один Вздошников вполне своим жалованьем доволен, но тут опять другая беда. С тех пор, как он сел *наравне с господами*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.